

# ОКЛЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

## Ж У Р Н А Л

### СО Д Е Р Ж А Н И Е

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ,  
РАССКАЗЫ  
М. ШЛОХОВ  
ВИДЛИ БРЕДЕЛЬ  
ВАС. КУДАШЕВ

ПОЭМЫ И СТИХИ  
А. СУРКОВ  
ВЛ. ЛУГОВСКОЙ  
ЕВГ. ПАВЛИЧЕНКО

ОЧЕРКИ И ФЕЛЬЕТОНЫ  
Г. КИШ  
М. ЗАПРУДНЫЙ  
ИВ. СЕМЕНОВ  
В. ХАНДРОС  
ШУЛИКОВ

ПЕРЕЖИТОЕ  
Ф. ФЕДОТОВ

ПУБЛИЦИСТИКА  
МИХ. ПОПОВ

К Р И Т И К А  
С. НЕЛЬС

БИБЛИОГРАФИЯ

К Н И Г А В Т О Р А Я  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1932 год

НА ЖУРНАЛ

# ПРОЛЕТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

(Бывш. журнал „РАПП“)

ОРГАН ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
ДВУХМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ  
ТЕОРИИ И КРИТИКИ. ГОД ИЗДАНИЯ 2-й

**ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА:** „Пролетарская литература“ является орудием борьбы за подлинное, интернациональное единство пролетарской литературы, за генеральную линию ВОАПП, является центром, обобщающим теоретическую мысль, помогающим обменом опытом литературно-политической борьбы и творчества всех отрядов пролетарского литературного движения] в СССР. Теоретическое руководство движением пролетарской литературы, разработка боевых вопросов практики и литературной политики, борьба за диалектико-материалистический творческий метод пролетарской литературы, за боевую марксистско-ленинскую публицистическую критику, за новые кадры пролетарских писателей из передовиков рабочего класса—ударников, за новые кадры критиков и литературоведов, за новые кадры читателей, активно участвующих в борьбе и работе пролетарского литературного движения.

**ЖУРНАЛ РАССЧИТАН:** на рабочего ударника, работников культурного фронта, партийный и советский актив, работников культотделов профсоюзов и отделов народного образования, библиотекарей и работников массового и пролетарского литературного движения, писателей и критиков, преподавателей и студентов вузов, преподавателей литературы на рабфаках, фабзавучах и трудовых школах и всех интересующихся современной литературой и искусством.

## ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год . . . . . 7 р. 50 к.  
на 6 мес. . . . . 3 р. 75 к.  
Отдельный номер . . . 1 р. 50 к.

**ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:** всеми отделениями, магазинами, киосками и уполномоченными Книгоцентра, всюду на почте и висьмоносцами

# ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ И МОСКОВСКОЙ  
АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТПИСАТЕЛЕЙ

К Н И Г А  
В Т О Р А Я  
Ф Е В Р А Л Ь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1932

13-я типография Мособлполиграф  
Б. Дмитровка, 26. Ст. ф. Б-176-250  
12 п. л. 704.0 з. л. в и. л. Тираж  
17300 экз.  
Сдан в набор 9/11—32 г. Подписан  
к печати 23/11 32 г. Уполномоч.  
главлита Б-15373 Техн редактор  
А. Жарков

# ТИХИЙ ДОН

РОМАН

МИХ. ШОЛОХОВ

(Продолжение)

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

XXVII

**В** КИЗЯШНИКЕ густо пахнет сухим навозом, выпревшей соломой, объедьями сена. Сквозь чекановую крышу днем сочится серый свет. В хворостяные ворота, как сквозь решето, иногда глянет солнце. Ночью—глаз коли. Мышиный писк. Тишина...

Хозяйка, крадучись, приносила Григорию поесть раз в сутки, вечером. Врытый в кизяки, стоял у него ведерный кувшин с водой. Все было бы ничего, но кончился табак. Григорий ядовито мучился первые сутки и, не выдержав без курева, наутро ползал по земляному полу, собирая в пригоршню сухой конский помет, крошил его в ладонях, курил. Вечером хозяин прислал с бабой два затхлых бумажных листа, вырванных из евангелия, коробку серников и пригоршню смеси: сухой донник и корешки недозрелого самосада-дюбека. Рад был Григорий, накурился до тошноты и в первый раз крепко уснул на кочковатых кизяках, завернув голову в полу, как птица под крыло.

Утром разбудил его хозяин. Он вбежал в кизяшник, резко окликнул:

— Спишь? Вставай. Дон поломаю, — и рассыпчато засмеялся.

Григорий прыгнул с прикладка. За ним обвалом глухо загремели пудовые квадраты кизяков.

— Што случилось?

— Восстали еланские и вешенские с этой стороны. Фомин и вся власть из Вешек убегли на Токин. Кубуть вос-

стала Казанская, Шумилинская, Мигулинская. Понял, куда оно махнуло?

У Григория вздулись на лбу и на шее связки жил, зеленоватыми искорками брызнули зрачки. Радости он не мог скрыть: голос дрогнул, бесцельно забегали по застезкам шинели черные пальцы.

— А у вас... в хуторе? Што? Как?

— Ничего не слышать. Председателя видал — смеется: «По мне, мол, все одно, какому богу не молиться, лишь бы бог был». Да ты вылазь из своо кобла.

Они шли к куреню Григорий отмаживал саженками, сбюку его поспешал хозяин, рассказывал:

— В Еланской первый поднялся Красноярский хутор. Позавчера двадцать еланских коммунов пошли на Кривской и Плешаковский рестовать казаков, а красноярские прослыхали такое дело, собрались и решили: «Доколь мы будем терпеть смыванье? Отцов наших забирают, доберутся и до нас. Седлай коней, пойдем, отобьем арестованных». Собралось человек пятнадцать, все ухи-ребяты. Повел их боевой казачишка Атланов. Винтовок у них только две, у ково шашки, у ково пика, а иной с дрючком. Через Дон прискакали на Плешаков. Коммуны у Мельникова на базу отдыхают. Кинулись красноярцы на баз в атаку в конном строю, а баз-то обнесенный каменной огорожей. Они напхнулись, да назад. Коммуняки убили у них одного казака, царство ему небесное. Вдарили вдогон, он с лошади сорвался и завис на плетне. Принесли его плешаковские

казаки к станишным конюшням. А у него, у любушки, в руке плетка застыла... ту, и пошло рвать. На этой поре и конец подошел советской власти, ну ее...

В хате Григорий с жадностью с'ел остатки завтрака, вместе с хозяином вышел на улицу. На углах проулков, будто в праздник, группами стояли казаки. К одной из таких групп подошли Григорий и хозяин. Казаки на приветствие донесли до папах руки, ответили сдержанно, с любопытством и выжиданьем, оглядывая незнакомую фигуру Григория.

— Это свой человек, господа казаки! Вы его не пужайтесь. Про Мелеховых с Татарскова слышали? Это сынок Пантелея, Григорий. У меня от расстрела спасался, — с гордостью сказал хозяин.

Только что завязался разговор. Один из казаков начал рассказывать, как выбили из Вешенской решетовцы, дубровцы и черновцы Фомина, но в это время в конце улицы, упирившейся в белый лобастый скат горы, показались двое верховых. Они скакали вдоль улицы, останавливаясь около каждой группы казаков, поворачивая лошадей, что-то кричали, махали руками. Григорий жадно ждал их приближения.

— Это не наши, не рыбинские... Гонцы откель-то, — всматриваясь, сказал казак, и оборвал рассказ о взятии Вешенской.

Двое, миновав соседний переулок, доскакали. Передний, старик в зипуне нараспашку, без шапки, с потным красным лицом и рассыпанными по лбу седыми кудрями, молодецки осадил лошадь; доотказа откидываясь назад, вытянул вперед правую руку.

— Што ж вы, казаки, стоите на проулках, как бабы? — плачуще крикнул он. Злые слезы рвали его голос, волнение трясло багровые щеки. Под ним ходуном ходила красавица-кобылица, четырехлетняя нежеребь, рыжая, белоноздрая, с мочалистым хвостом и сухими, будто из сталии литыми ногами. Храпя и кусая шенкеля, она приседала, прыгала в дыбошки, просила повод, чтобы опять пойти броским, звонким

наметом, чтоб опять ветер заламывал ей уши, свистел в гриве, чтобы снова охала под точеными раковинами копыт гулкая, выжженная морозами земля. Под тонкой кожей кобылицы играли и двигались каждая связка и жилка. На шее ходили долевы валуны мускулов, дрожал просвечивающий розовый храп, а выпуклый рубиновый глаз, выворачивая кровяной белок, косился на хозяина требовательно и зло.

— Што ж вы стоите, сыны тихова Дона? — еще раз крикнул старик, переводя глаза с Григория на остальных. — Отцов и дедов ваших расстреливают. Имущество ваше забирают. Над вашей верой смеются комиссары, а вы лузгаете семечки и ходите на игрища? Ждете, покель вам русским арканом затянут глотку. Докедова ж вы будете держаться за бабьи курпяки? Весь Еланский юрт поднялся с малу до велика. В Вешенской выгнали красных, а вы... рыбинские казаки! Аль вам жизнь дешева стала? Али вместо казачьей крови мужицкий квас у вас в жилах? Встаньте! Возьмитесь за оружие! Хутор Кривской послал нас подымать хутора. На конь, казаки, покедова не поздно! — он наткнулся осумасшедшими глазами на знакомое лицо одного старика, крикнул с великой обидой: «Ты-то чево стоишь, Семен Христофорович? Твоо сына зарубили под Филоновым красные, а ты на пече спасаешься!»?

Григорий не дослушал, кинулся на баз. Из половни он на рысях вывел своего застоявшегося коня; до крови обрывая ногти, разрыв в кизяках седло и вылетел из ворот, как бешеный.

— Пошел! Спаси христос! — успел крикнуть он подходившему к воротам хозяину и, падая на переднюю луку, весь клонясь к конской шее, поднял по улице белый смерчевой жгут снежной пыли, охаживая коня по обе стороны плетью, пуская его во весь мах. За ним оседало снежное курево, в ногах ходили стремяна, терлись о крылья седла занемевшие ноги. Под стремянами стремительно строчили конские копыта. Он чувствовал такую лютую, огромную радость, такой прилив сил и

решимости, что, помимо воли его, из горла рвался повизгивающий, клокочущий хрип. В нем освободились плененные, затаившиеся чувства. Ясен, казалось, был его путь отныне, как выветленный месяцем шлях.

Все было решено и взвешено за томительные дни, когда звермя скрывался он в кизячном логове и по-зверному сторожил каждый звук и голос снаружи. Будто и не было за его плечами дней поисков правды, шатаний, переходов и тяжкой внутренней борьбы.

Тенью от тучи проклубились те дни, и теперь казались ему его искания зряшными и незначительными. О чем было думать? Зачем металась душа, как зафлаженный на облове волк, в поисках выхода, в разрешении противоречий? Жизнь оказалась усмешливой, мудро-простой. Теперь уже ему казалось, что извечно не было в ней такой правды, под крылом которой мог бы посогреться всякий, и, до края озлобленный, он думал: у каждого своя правда, своя борозда. За кусок хлеба, за долю земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться, пока светит им солнце, пока теплая сочится по жилам кровь. Надо биться с тем, кто хочет отнять жизнь, право на нее; надо биться крепко, не качаясь как в стенке, а накал ненависти, твердость даст борьба. Надо только не взнуздывать чувства, дать простор им, как бешенству, и все.

Пути казачества скрестились с путями безземельной мужичьей Руси, с путями фабричного люда. Биться с ними! Насмерть рвать у них из-под ног тучную донскую, казачьей кровью политую землю. Гнать их, как татар, из пределов области! Тряхнуть Москвой, навязать им постыдный мир! На узкой стежке не разойтись, — кто-нибудь кого-нибудь, а должен свалить. Проба сделана: пустили на войсковую землю красные полки, испробовали? А теперь за шашку!

Об этом, опаляемый слепой ненавистью, думал Григорий, пока конь нес его по белогривому покрову Дона. На миг в нем ворохнулось противоречие:

«Богатые с бедными, а не казаки с Русью... Мишка Кошевой и Котляров тоже казаки, а насквозь красные. Но он со злостью отмахнулся от этих мыслей.

Завиднелся Татарский. Григорий передернул повод; коня, обсыпанного шмотьями мыла, свел на легкую побежку. На выезде придавил опять, конской грудью откинул воротца калитки, вскочил на баз.

## XXVIII

На рассвете, измученный Кошевой въехал в хутор Большой Усть-Хоперской станицы. Его остановила застава 4-го Заамурского полка. Двое красноармейцев отвели его в штаб. Какой-то штабной долго и недоверчиво расспрашивал его, пытаясь путать, задавая вопросы, вроде того: «А кто у вас был председателем ревкома? Почему документов нет?» — и все прочее в этом духе. Мишке надоело отвечать на глупые вопросы.

— Ты меня не крути, товарищ! Меня казаки не так крутили, да ничего не вышло. — Он завернул рубаху, показал пробитый вилами бок и низ живота. Хотел уже пугануть штабного печеным словом, но в этот момент вошел Штокман.

— Блудный сын! Чортушка! — бас его сорвался на тенор, руки облапали Мишкину спину. — Что ты его, товарищ, распытываешь? Да ведь это же наш парень! До чего ты глупость спорол! Послал бы за мной, или за Котляровым, вот и все, и никаких вопросов. Пойдем, Михаил! Но как ты уцелел? Как ты уцелел, скажи мне? Ведь мы тебя вычеркнули из списков живых Погиб, думаем, смертью героя.

Мишка вспомнил, как брали его в плен, беззащитность, винтовку, оставленную в санях, — мучительно, до слез покраснел.

## XXIX

В Татарском, в день приезда Григория, уже сформировалось две сотни казаков. На сходе постановили мобилизовать всех способных носить ору-

жие, от шестнадцати до семидесяти лет. Многие чувствовали безнадежность создавшегося положения: на север была враждебная, ходившая под большевиками Воронежская губерния и красный Хоперский округ, на юг—фронт, который, повернувшись, мог лавиной своей раздавить повстанцев. Некоторые, особенно осторожные казаки не хотели брать оружия, но их заставляли силой. Наотрез отказался воевать Степан Астахов.

— Я не пойду. Берите коня, што хотите со мной делайте, а я не хочу винтовку брать! — заявил он утром, когда в курень к нему вошли Григорий, Христоня и Аникушка.

— Как это не хочешь? — шевеля ноздрями, спросил Григорий.

— А так, не хочу и все!

— А ежели красные заберут хутор, куда денешься? С нами пойдешь или останешься?

Степан долго переводил пристальный посвечивающий взгляд с Григория на Аксинью, ответил, помолчав:

— Тогда видно будет...

— Коли так, — выходи! Бери ево, Христан! Мы тебя зараз к стенке прислоним! — Григорий, стараясь не глядеть на прижавшуюся к печке Аксинью, взял Степана за рукав гимнастерки, рванул к себе. — Пойдем, нечего тут!

— Григорий, не дури... Оставь! — Степан бледнел, слабо упирался. Его сзади обнял нахмуренный Христоня, буркнул:

— Стало быть, пойдём, ежели ты таково духу.

— Братцы!

— Мы тебе не братцы! Иди, говорят!

— Пустите, я запишусь в сотню. Слабый я от тифу...

Григорий криво усмехнулся, выпустил рукав Степановой гимнастерки.

— Иди, получай винтовку. Давно бы так!

Он вышел, запахнув шинель, не попрощавшись. Христоня не постеснялся после случившегося выпросить у Степана табачку на цыгарку и еще долго сидел, разговаривал, как будто между ними ничего и не было.

К вечеру из Вешенской привезли два воза оружия. Восемьдесят четыре вин-

товки и боле сотни шашек. Многие достали свое припрятанное оружие. Хутор высточил двести одиннадцать бойцов. Полтораста конных, остальные пластуны.

Еще не было единой организации у повстанцев. Хутора действовали пока разрозненно: самостоятельно формировали сотни, выбирали на сходах командиров из наиболее боевых казаков, считаясь не с чинами, а с лозунгами, наступательные операции не предпринимали, а лишь связывались с соседними хуторами и прошупывали конными разведками окрестности.

Командиром конной сотни в Татарском еще до приезда Григория выбрали, как и в 18-м году, Петра Мелехова. Командование пешей сотней принял на себя Латышов. Батарейцы, во главе с Иваном Томилиным, уехали на Базки. Там оказалось брошенное красными, полуразрушенное орудие, без панорамы и с разбитым колесом. Его-то и отправились батарейцы починять.

На двести одиннадцать человек привезли из Вешенской и собрали по хутору сто восемь винтовок, сто сорок шашек и четырнадцать охотничьих ружей. Пантелей Прокофьевич, освобожденный вместе с остальными стариками из моховского подвала, вырыл пулемет. Но лент не нашлось, и пулемет сотня на вооружение не приняла.

На другой день к вечеру, стало известно, что из Каргинской идет на подавление восстания карательный отряд красных войск в триста штыков, под командой Лихачева, при семи орудиях и двенадцати пулеметах. Петро решил выслать в направлении хутора Токина сильную разведку, одновременно сообщив в Вешенскую.

Разведка выехала в сумерках. Вел Григорий Мелехов тридцать два человека татарцев. Из хутора пошли наметом, да так и гнали почти до самого Токина. Верстах в двух от него, возле неглубокого яра, при шляху, Григорий спешил казаков, расположил в ярке. Коноводы отвели лошадей в лошину. Лежал там глубокий снег. Лошади, спускаясь, топили в рыхлом снегу по пузо, чей-то жеребец в предвесеннем возбуждении игогокал, лягался. Приш-



лось послать на него отдельного коновода.

Трех казаков: Аникушку, Мартина, Шамя и Прохора Зыкова, Григорий послал к хутору. Они тронулись шагом. Вдали под склоном синели, уходя на юго-восток широким зигзагом, токинские левады. Сходила ночь. Низкие облака валили над степью. В яру молча сидели казаки. Григорий смотрел, как силуэты трех верховых спускаются под гору, сливаясь с черной хребтиной дороги. Вот уже не видно лошадей, маячат одни головы всадников. Скрылись и они. Через минуту оттуда горласто затарахтел пулемет. Потом тоном выше тенористо защелкал другой, видимо ручной. Опорожнив диск, ручной смолк, а первый, передохнув, ускоренно кончил еще одну ленту. Стаи пуха рассеивались над яром, где-то в сумеречной вышине. Живой их звук бодрил, был тягуч, весел и тонок. Трое скакали во весь опор.

— Напхнулись на заставу! — издали крикнул Прохор Зыков. Голос его заглушил гром конского бега.

— Коноводам изготовиться! — отдал Григорий приказ.

Он вскочил на гребень яра, как бруствер, не обращая внимания на пули, с шипом зарывавшиеся в снег, пошел навстречу подъезжавшим казакам.

— Ничего не видали?

— Слышно, как завозились там. Много их, слышать по голосам, — запыхавшись, говорил Аникушка.

Он прыгнул с коня, носок сапога заело стремя, и Аникушка заругался, чикаля, при помощи руки освобождая ногу.

Пока Григорий расспрашивал его, восемь казаков спустились из яра в ложину, разобрав коней, ускакали домой.

— Расстреляем завтра! — тихо сказал Григорий, прислушиваясь к удаляющемуся топоту беглецов.

В яру оставшиеся казаки просидели еще с час, бестрепетно храня тишину, вслушиваясь. Под конец кому-то послышался цокот копыт.

— Едут с Токина!

— Разведка!

— Не может быть!

Переговаривались шопотом. Высовывая головы, напрасно пытались разглядеть что-либо в ночной непроницаемой наволочи. Калмыцкие глаза Федота Бодовскова первые разглядели.

— Едут, — уверенно сказал он, снимая винтовку.

Носил он ее по-чуждому: ремень перепял на шею, как гайтан креста, а винтовка косо болталась у него на груди. Обычно так и ходил он и ездил, положив руки на ствол и ложу, будто баба на коромысло.

Человек десять конных молча, в беспорядке ехали по дороге. На пол-лошади впереди выделялась осанистая, тепло одетая фигура. Длинный кудехвостый конь шел уверенно, горделиво. Григорию снизу на фоне серого неба отчетливо видны были линии конских тел, очертания всадников, даже плоский срезаемый верх кубанки видел он на ехавшем передом. Всадники были в десяти саженях от яра; такое крохотное расстояние отделяло казаков от них, что, казалось, они должны бы слышать и хриплые казачьи дыхи и частый звон их сердец.

Григорий еще раньше приказал без его команды не стрелять. Он, как зверобой на засаде, ждал момента расчетливо и выверенно. У него уже созрело решение: окликнуть едущих и, когда они в замешательстве собьются в кучу — открыть огонь.

Мирно похрустывал по дороге снег. Из-под копыта выпорхнула желтым светлячком искра, должно подкова скользнула по оголенному кремню.

— Кто едет? — Григорий легко, по-кошачьи, прыгнул из яра, выпрямился. За ним с глухим шорохом высыпали казаки.

Произошло то, чего никак не ожидал Григорий.

— А вам кого надо? — без тени страха или удивления спросил густой сильный бас переднего. Он повернул коня, направляя его на Григория.

— Кто такой? — резко закричал Григорий, не трогаясь с места, неприметно поднимая в полусогнутой руке наган.

Тот же бас зарокотал громовато, гневно:

— Кто смеет орать? Я командир отряда карательных войск! Уполномочен штабом 3-й Красной армии заложить восстание! Кто у вас командир? Дать мне его сюда!

— Я командир.

— Ты? Аа-а...

Григорий увидел вороную штуку в вскинутой вверх руке всадника, успел до выстрела упасть; падая крикнул:

— Огонь!

Тупоносая пуля из браунинга цвелькнула над головой Григория. Посыпались оглушающие выстрелы с той и с другой стороны. Бодовсков повис на поводьях коня бесстрашного командира, стрелявшего в Григория. Потянувшись через Бодовского, Григорий, удерживая руку, рубнул тупяком шашки по кубанке сдернул с седла грузноватое тело. Схватка кончилась в две минуты. Трое красноармейцев ускакали, двух убили, остальных обезоружили.

Григорий коротко допрашивал взятого в плен командира в кубанке, тыча в разбитый рот ему дуло нагана.

— Как твоя фамилия, гад?

— Лихачев.

— На што же ты надеялся, как ехал с девятью охранниками? Ты думал, казаки на колени попадают? Прощенья будут просить?

— Убейте меня!

— С этим успеется, — утешал его Григорий. — Документы где?

— В сумке. Бери, бандит!.. Сволочь!..

Григорий, не обращая внимания на ругань, сам обыскал Лихачева, достал из кармана его полушубка второй браунинг, снял маузер и полевую сумку. В боковом кармане нашел маленький, крытый пестрой звериной шкурой портфель с бумагами и порсигар.

Лихачев все время ругался, стонал от боли. У него было простреляно правое плечо. Григорьевой шашкой сильно зашиблена голова. Был он высок, выше Григория ростом, тяжеловесен, и, должно быть, силен.

На смуглом, свежесбритом лице куцые, широкие черные брови разлаписто и властно сходились у переносицы. Рот большой, подбородок квадрат-

ный. Одет Лихачев был в сборчатый полушубок, голову его крыла черная кубанка, помятая сабельным ударом, под полушубком на нем статно сидел защитный френч, широкие галифе. Но ноги были малы, изящны, обуты в щегольские сапоги с лаковыми голенищами.

— Снимай полушубок, комиссар! — приказал Григорий. — Ты — гладкий. Отъелся на казачьих хлебах, небось, не замерзнешь!

Плечным связали руки кушаками, недоузками, посадили на их же лошадей.

— Рысью за мной! — скомандовал Григорий и поправил на себе лихачевский маузер.

Ночевали они на базках. На полу у печи, на соломенной подстилке стонал, скрипел зубами, метался Лихачев. Григорий при свете лампы промыл и перевязал ему раненое плечо. Но от расспросов отказался. Долго сидел за столом, просматривал мандаты Лихачева, списки вешенских казаков-контрреволюционеров, переданные Лихачеву бежавшим ревтрибуналом, записную книжку, письма, пометки на карте. Изредка посматривая на Лихачева, скрещивал с ним взгляды, как клинки. Казаки, ночевавшие в этой хате, всю ночь колготили: выходили к лошадям и курить в сенцы, лежа разговаривали.

Забылся Григорий на заре, но вскоре проснулся, поднял со стола отяжелелую голову. Лихачев сидел на соломе, зубами развязывая бинт, срывая повязку. Он взглянул на Григория налитыми кровью ожесточенными глазами. Белозубый рот его был оскален мучительно, как в агонии, в глазах светилась такая мертвая тоска, что у Григория сон будто рукой сняло.

— Ты чево? — спросил он.

— Какого теб... надо! — Смерти хочу! — зарычал Лихачев, бледнея, падая головой на солому.

За ночь он выпил с полведра воды. Глаз не сомкнул до рассвета.

Утром Григорий отправил его на тащанке в Вешенскую с кратким донесением и всеми отобранными документами.

## XXX

В Вешенской к красному кирпичному зданию исполкома резво подкатила тачанка, конвоируемая двумя конными казаками. В задке полулежа сидел Лихачев. Он встал, придерживая руку на окровавленной повязке. Казаки спешили, сопровождая его, вошли в дом.

С полсотни казаков густо толпились в комнате временно командующего объединенными повстанческими силами Суярова. Лихачев, оберегая руку, протолкался к столу. Маленький, ничем не примечательный, разве только редкосно ехидными щелками желтых глаз, сидел за столом Суяров. Он кротко глянул на Лихачева, спросил:

— Привезли голубя? Ты и есть Лихачев?

— Я. Вот мои документы. — Лихачев бросил на стол завязанный в мешок портфель, глянул на Суярова неприступно и строго. — Сожалею, что мне не удалось выполнить моего поручения, — раздавить вас, как гадюк! Но Советская Россия вам воздаст должное. Прошу меня расстрелять.

Он шевельнулся простреленным плечом, шевельнул широкой бровью.

— Нет, товарищ Лихачев! Мы сами против расстрелов восстали. У нас не так, как у вас, — расстрелов нету. Мы тебя вылечим, и ты ищо, может, пользу нам принесешь, — мягко, но поблескивая глазами, проговорил Суяров: — Лишние войдите отседова. Ну, поскорейча!

Остались командиры Решетовской, Черновской, Ушаковской, Дубровской и Вешенской сотен. Они присели к столу. Кто-то дхнул ногой табурет Лихачеву, — но он не сел. Прислонился к стене, глядя поверх голов в окно.

— Вот што, Лихачев, — начал Суяров, переглядываясь с командирами сотен. — Скажи нам, какой численности у тебя отряд?

— Не скажу.

— Не скажешь? Не надо. Мы сами из бумаг твоих пойдем. А нет — красноармейцев из твоей охраны допросим. Ищо одно дело! попросим (Суяров налег на это слово) мы тебя налиши своему отряду, штоб они шли в Вешки.

Воевать нам с вами не из чево. Мы не против советской власти, а против коммуны и жидов. Мы отряд твой обезоружим и распустим по домам. И тебя выпустим на волю. Одним словом, пропиши им, што мы такие же трудящиеся и штоб они нас не опасались, мы не супротив Советов...

Плевок Лихачева попал Суярову на седенький клинушек бородки. Суяров бороду вытер рукавом, порозовел в скулах. Кое-кто из командиров улыбнулся, но чести командующего защитить никто не встал.

— Обижаете нас, товарищ Лихачев! — уже с явным притворством заговорил Суяров. — Атаманы, офицеры над нами смывались, плевали на нас, и ты — коммунист — плюешься. А все говорите, што вы за народ.. Эй, кто там есть? — уведите комиссарика! Завтра отправим тебя в Казанскую.

— Может, подумаешь? — строго спросил один из сотенных.

Лихачев рывком поправил накиннутый внапашку френч, пошел к стоявшему у двери конвою.

Его не расстреляли. Повстанцы же боролись против «расстрелов и грабежей»... На другой день погнали его на Казанскую. Он шел впереди конных конвоиров, легко ступая по снегу, хмурил кудый размет бровей. Но в лесу, проходя мимо смертельно-белой березки, с живостью улыбнулся, стал, потянулся вверх и здоровой рукой сорвал ветку. На ней уже набухали мартовским сладостным соком бурные почки, сулил их тонкий, чуть внятный аромат весенний расцвет, жизнь, повторяющуюся под солнечным кругом... Лихачев совал пухлые почки в рот, жевал их, затуманенными глазами глядел на отходившие от мороза посветлевшие деревья и улыбался уголком бритых губ.

С черными лепестками почек на губах, он и умер: в семи верстах от Вешенской, в песчаных, сурово-насупленных бурнах его зверски зарубили конвойные. Живому выкололи ему глаза, отрубили руки, уши, нос, искрестили шашками лицо. Расстегнули штаны и надругались, исюганили большое, мужествен-

ное, красивое тело. Надругались над кровоточащим обрубок, и потом один из конвойных наступил мигом на хлипко дрожавшую грудь, на поверженное навзничь тело и одним ударом наискось отсек голову.

### XXXI

Из-за Дона, с верховьев, со всех краев шли вести о широком разливе восстания. Поднялось уже не два станичных юрта. Шумилинская, Казанская, Мигулинская, Мешковская, Вешенская, Еланская, Усть-Хоперская станицы восстали, наскоро сколотив сотни. Колебались и явно клонились на сторону повстанцев Каргинская, Боковская, Краснокутская. Восстание грозило перекинуться и в соседние Усть-Медведицкий и Хоперский округа. Уже началось брожение в Букановской, Слачевской и Федосеевской станицах; волновались окраинные к Вешенской хутора Алексеевской станицы... Вешенская — как окружная станица — стала центром восстания. После долгих споров и толков решили сохранить прежнюю структуру власти. В состав окружного исполкома выбрали наиболее уважаемых казаков, преимущественно молодых. Председателем посадили военного чиновника артиллерийского ведомства Данилова. Были образованы в станицах и хуторах Советы и, как ни странно, даже в обиходе осталось некогда ругательное слово «товарищ». Был кинут и демагогический лозунг «За советскую власть, но против коммуны, расстрелов и грабежей». Поэтому-то на папашах повстанцев, вместо одной белой нашивки, или перевязки, появлялись две: белая накрест с красной...

Суярова, на должности командующего объединенными повстанческими силами, сменил молодой двадцативосьмилетний хорунжий Кудинов Павел, георгиевский кавалер всех четырех степеней, красноречивый и умница. Отличался он слабыхарактерностью, и не ему бы править мятежным округом в такое бурное время, но тянулись к нему казаки за простоту и обходительность. А главное, глубоко уходил корнями Кудинов в толщу казачества, откуда шел родом,

и был лишен высокомерия и офицерской заносчивости, обычно свойственной выскочкам. Он всегда скромно одевался, носил длинные, в кружок подрезанные волосы, был сутоловат и скороговорист. Сухощавое, длинноносое лицо его казалось мужиковатым, неотличимым ничем

Начальником штаба выбрали подесаула Сафонова Илью, и выбрали лишь потому, что парень был трусоват, но на руку писуч, шибко грамотен. Про него так и сказали на сходе:

«Сафонова в штаб сажайте. В строю он не гожд. У него и урону больше будет, не оберет он казаков, да и сам, гляди, наломает. Из него вояка, как из цыгана поп».

Малый ростом, кругловатого чекану Сафонов на такое замечание обрадованно улыбнулся в желтые с белесым подбоям усы и с великой охотой согласился принять штаб.

Но Кудинов и Сафонов только оформляли то, что самостоятельно вершилось сотнями. В руководстве связанными оказались у них руки, да и не по их силам было управлять такой махиной и поспевать за стремительным взрывом событий.

4-й Заамурский конный полк, с влившимися в него большевиками Усть-Хоперской, Еланской и частью Вешенской станиц, с боем прошел ряд хуторов, перевалил еланскую грань и степью двигался на запад над Доном.

5 марта в Татарский прискакал с донесением казак. Еланцы срочно требовали помощи. Они отступали почти без сопротивления, не было патрон и винтовок; на их жалкие выстрелы Заамурцы засыпали их пулеметным дождем, крыли из двух батарей. В такой обстановке некогда было дожидаться распоряжений из округа. И Петро Мелехов решил выступить со своими двумя сотнями.

Он принял командование и над оставшимися четырьмя сотнями соседних хуторов. Поутру вывел казаков на бугор. Сначала, как водится, цокнулись разведки. Бой развернулся позже.

У Красного лога, в восьми верстах от хутора Татарского, где когда-то Григорий с женой пахал и был застигнут зимой, где в первый раз признался он

Наталье, что не любит ее, — в этот тусклый зимний день на снегу возле глубоких яров спешивались конные сотни, рассыпались цепи, коноводы отводили под прикрытие лошадей. Внизу из вогнутой просторной котловины в три цепи шли красные. Белый простор падьи был иссечен черными пятнышками людей. К цепям подъезжали подводы, мельтешились конные. Казаки, отделенные от противника двумя верстами расстояния, неспешно готовились принять бой.

На своем сытом, слегка запаренном коне от еланских, уже рассыпавшихся сотен подскочил к Григорию Петро. Он был весел, оживлен.

— Братухи! Патроны берегайте! Бить, когда отдам команду. Григорий, отведи свою полусотню сажен на полтора раста влево. Поторапливайся! Коноводы пушай в кучу не съезжаются! — Он отдал еще несколько последних распоряжений, достал бинокль. — Никак, батарею устанавливают на Матвеевом кургане?

— Я давно примечаю: простым глазом видать.

Григорий взял из его рук бинокль, взгляделся. За курганом, с обдутой ветрами макушей, чернели подводы, крохотные мелькали люди.

Татарская пехота, «пластунки», как их шутя прозвали конные, несмотря на строгий приказ не сходить с места, собирались толпами, делились патронами, курили, перекидывались шутками. На голову выше мелковатых казаков качалась папаха Христони (попал он в пехоту, лишившись коня), краснел трех Пантелея Прокофьевича. В пехоте гуляло большинство стариков и молодятник. Вправо от несрезанной чащи подсолнечных будыльев, версты на полторы стояли еланцы. Шестьсот человек было в их четырех сотнях, но почти двести коноводили. Треть всего состава скрывалась в пологих отножинах яров с лошадыми.

— Петро Пантелевич! — кричали из пехотных рядов. — Гляди, в бою не бросай нас пеших!

— Будьте спокойные! Не покинем, — улыбался Петро и, поглядывая на мед-

ленно подвигавшиеся в бугор цепи красных, начал нервозно поигрывать плеткой.

— Петро, тронь сюда, — попросил Григорий, отходя от цепи в сторону.

Тот подъехал. Григорий, морщась, с видимым недовольством сказал:

— Позиция мне не по душе. Надо бы минут эти яры. А то обойдут нас с флангу, — беды наберемся. А?

— Чево ты там! — досадливо отмахнулся Петро. — Как это нас обойдут! Я в лизерве оставил одну сотню, да на худой конец и яры сгодятся. Они не по-меха.

— Гляди, парень! — предостерегающе кинул Григорий, не в последний раз быстро ощупывая глазами местность.

Он подошел к своей цепи, оглядел казаков. У многих на руках уже не было варежек и перчаток. Припекло волнение, — сняли. Кое-кто нудился, то шапку поправит, то шпенек пояса передвинет потуже.

— Командер наш слез с коня! — улыбнулся Федот Бодовсков и насмешливо чуть покивал в сторону Петра, развалисто шагавшего к цепям.

— Эй, ты, генерал Платов! — ржал корсорукий Алешка Шамиль, вооруженный одной шашкой. — Прикажи донцам по чарке водки!

— Молчи, водошник! Отсекут тебе красные другую руку, чем до рта понесешь? Из корыта придется хлебать.

— Но-но!..

— А выпил бы, не дорого отдал! — вздыхал Степан Астахов, и даже русский ус закручивал, скинув руку с эфеса.

Разговоры по цепи шли самые неподходящие к моменту. И разом смолкли, как только за Матвеевым курганом октавой бухнуло орудие. Густой полнозвучный звук вырвался из жерла комком и долго таял над степью, как белая пенка дыма, сомкнувшись с отчетливым и укороченно-резким треском разрыва. Сняряд не добрал расстояния, разорвался в полверсте от казачьей цепи. Черный дым, в белом лучистом оперении снега, медленно взвернулся над пашней, рухнул вниз, стелясь и приныкая к бурьянам. Сейчас же в красной цепи заработали пулеметы. Мороз скрадывал

полноту звука, пулеметные очереди выстукивали ночной колотушкой сторожа. Казаки легли в снег, в бурьянок, в щетинистые безголовые подсолнухи.

— Дым дюже черный. Вроде, как от немецкова снаряду, — крикнул Прохор Зыков, оглядываясь на Григория.

В соседней еланской сотне поднялся шум. Ветром допахнуло крик: «Кума Митрофана убило!»

Под огнем к Петру подбежал рыжебородый рубеженский сотенный Иванов. Он вытирал под папачой лоб, задышался.

— Вот снег — так снег! До чево стрямок — ног не выдернешь!

— Ты чево? — настропалился, сдвигая брови, Петро.

— Мысля пришла, товарищ Мелехов! Пошли ты одну сотню низом, к Дону. Сними из цепи и пошли. Нехай они низом спущаются и добегут до хутора, а оттель вдарют в тыл красным. Они обозы, небось, побросали... Ну, какая там охрана? Опять же панику наведут.

«Мысля» Петру понравилась. Он командовал своей полусотне стрельбу, махнул рукою стоящему во весь рост Латышеву и валко зашагал к Григорию. Объяснил, в чем дело, коротко приказал:

— Веди полусотню. Нажми им на хвост!

Григорий вывел казаков, в ложине посадились верхи, шибкой рысью запылили к хутору.

Казаки выпустили по две обоймы на винтовку, примолкли. Цепи красных легли. Захлебнулись чечеткой пулеметы. У одного из коноводов вырвался раненый шалой пулей белоногий конь Мартина Шамяля и, обезумев, промчался через цепь рубеженских казаков, пошел под гору к красным. Пулеметная струя резанула его, и конь на всем скаку высоко вскинул задком, грянулся в снег.

— Цель в пулеметчиков! — передавали по цепи Петров приказ.

Целили. Били только искусные стрелки и нашкочили: невзрачный казачишка с Верхне-Кривского хутора одного за другим переметили пулями трех пулеметчиков и «Максим» с закипевшей в кожухе водой умолк. Но перебитую

прислугу заменили новые. Пулемет опять зарокотал, рассеивая смертные семена. Залпы валились часто. Уже зазвучали казаки, все глубже зарываясь в снег. Аникушка докопался до голенькой земли, не переставая чудить. Кончились у него патроны (их было пять штук в зеленой проржавленной обойме), и он изредка, высывая из снега голову, свистал по-сурчиному, делал губами непередаваемый, очень похожий на подлинный звук, производимый сурком в момент испуга... «Агхю!».. — по-сурчиному вскрикивал Аникушка, обводя цепь дурашливыми глазами. Справа от него до слез закатывался Степан Астахов, а слева сердито матил Антипка Брех.

— Брось, гадюка! Нашел час шутки вышучивать!

— Агхю! — поворачивался в его сторону Аникушка, в нарочитом испуге округляя глаза.

В батарею красных, вероятно, ощущался недостаток в снарядах: выпустив около тридцати снарядов, она смолкла. Петро нетерпеливо поглядывал назад, на гребень бугра. Он послал двух вестовых в хутор с приказом, чтобы все взрослое население хутора вышло на бугор, вооружившись вилами, кольями, косами. Хотелось ему задать красным острстку и тоже рассыпать три цепи.

Вскоре на кромке гребня появился и повалил под гору густыми толпами народ.

— Гля, галь черная высыпала!

— Весь хутор вышел.

— Да там, никак, и бабы!

Казаки перекрикивались, улыбались. Стрельбу прекратили совсем. Со стороны красных работало лишь два пулемета да изредка погромыживали залпы.

— Жалко, батарея ихняя приутихла. Кинули б один снаряд в бабье войско, вот поднялося бы там! С мокрыми подолами бегли бы в хутор! — с удовольствием говорил косорукий Алешка, видимо всерьез сожалея, что по бабам не кинут красные ни одного снаряда.

Толпы стали выравниваться, дробить

ся. Вскоре они растянулись в две широких цепи. Стали.

Петро не велел им подходить даже на выстрел к казачьей цепи. Но одно появление их произвело на красных заметное воздействие. Цепи их стали отходить, спускаясь в днище падины. Коротко посоветовавшись с сотенными, Петро обнажил правый фланг, сняв две цепи еланцев, приказал им в конную строю итти на север, к Дону, чтобы там поддержать наскок Григория. Сотни на виду у красных выстроились на той стороне Красного яра, пошли на низ, к Дону.

Стрельба по отступавшим красным цепям возобновилась.

### XXXII

Григорий с полусотней потрепал обоз первого разряда замурцев. Восемь красноармейцев было зарублено.

Взято четыре подводы с патронами и две верховых лошади. Полусотня отделалась убитой лошадей да пустяковой царапиной на теле одного из казаков.

Но пока Григорий уходил над Доном с отбитыми подводами, никем не преследуемый и крайне ослативленный успехом на бугре подошла развязка боя... Эскадрон замурцев далеким кружным путем еще перед боем пошел в обход, сделал десятиверстный круг и, внезапно вывернувшись из-за бугра, ударил атакой по коноводам. Все смешалось! Конноводы вылетели с лошадьми из отнужины Красного яра, некоторым казакам успели подать коней, а над остальными уже забелели клинки замурцев. Многие безоружные конноводы, пораспускали лошадей, поскакали врасыпную. Пехота, лишенная возможности стрелять, из опасения попасть в своих, как горох из мешка высыпалась в яр, перебралась на ту сторону, беспорядочно побежала.

Те из конных (а их было большинство), которые успели переловить коней, ударились к хуторам на перегонки, меряя «чья добрее».

В первый момент, как только Петро на крик повернул голову и увидел конную лаву, устремляющуюся на коноводов, — скомандовал:

— По коням! Пехота! Латышев! Через яр!..

Но добежать до своего коновода он не успел. Лошадь его держал молодой парень Андрюшка Безхлебнов. Он наметом шел к Петру, две лошади Петра и Федота Бодовскова скакали рядом по правой стороне. Но на Андрюшку сбоку налетел красноармеец в распахнутой желтой дубленке, с плеча рубанул его, крикнув:

— Эх, ты, вояка, растакую!..

На счастье Андрюшки за плечами его болталась винтовка. Шашка вместо того, чтобы секануть Андрюшкину, одетую белым шарфом шею, заскрежетала по стволу, визгнув, вырвалась из рук красноармейца и распрямляющейся дугой взлетела на воздух. Под Андрюшкой горячий конь шарахнулся в сторону, понес щелкать. Кони Петра и Бодовскова устремились следом за ним...

Петро ахнул, на секунду стал, побелел, пот разом залил ему лицо. Глянул Петро назад: к нему подбегало с десятков казаков.

— Погибли! — кричал Бодовсков. Ужас коверкал его лицо.

— Сигайте в яр, казаки! Братцы, в яр! — Петро овладел собой, первый побежал к яру и покатился вниз по тридцатисаженной крутизне. Зацепившись, он порвал полушубок от грудного кармана до оторочки полы, вскочил, отряхнулся по собачьи, всем телом сразу. Сверху, дико кувыркаясь, переворачиваясь на лету, сыпались казаки.

В минуту их нападало десять человек. Петро был одиннадцатым. Там наверху еще постукивали выстрелы, звучали крики, конский топот. А на дне яра попадавшие казаки глупо стрясали с папах снег и песок, кое-кто потирал ушибленные места. Мартин Шамиль, выхватив затвор, продувал забитый снегом ствол винтовки: у одного паренька Маныцкова — сына покойного хуторского атамана — щеки, исполованные мокрыми стежками бегущих слез, дрожали от великого испуга.

— Што делать? Петро, веди! Смерть в глазах... Куда кинемся! Ох, побьют нас!

Федот заклацал зубами, кинулся вниз по теклине, к Дону.

За ним, как овцы, шарахнулись и остальные.

Петро насилу остановил их.

— Стойте! Порешим... Не беги! Постреляют!..

Всех завел под вымоину, в красноглинистом боку яра предложил, заикаясь, но стараясь сохранить хоть наружно спокойный вид:

— Книзу нельзя идти. Они далеко погонят наших... Надо тут... Расходись по вымоинам... Троем на энту сторону зайтись... Отстреливаться будем!.. Тут можно осаду выдержать..

— Да пропадаем же мы! Отцы! Родимые! Пустите вы меня отсеть... Не хочу... Не желаю умирать! — завыл вдруг белообрый, плакавший еще и до этого, парнишка Маныцков.

Федот, сверкнув калмыцким глазом, вдруг с силой ударил его кулаком в лицо.

У парнишки хлынула носом кровь, спиной он осыпал со стенки яра глину и чуть удержался на ногах, но выть перестал.

— Как отстреливаться? — спросил Шамиль, хватая Петра за руки. — А патрон сколько? Нету патрон!

— Гранату метнут. Ухлай нам!

— Ну, а што же делать? — Петро вдруг посинел, на губах его под усамы вспикела пена. — Ложись!.. Я командир, или кто? Убью!

Он и в самом деле замахал наганом над головами казаков.

Свистящий шопот его будто жизнь вдохнул в них. Бодовсков, Шамиль и еще двое казаков перебежали на ту сторону яра, залегли в вымоине, остальные расположились с Петром.

Весной рыжий поток нагорной воды, ворочая самородные камни, вымывает з теклине ямины, рушит пласты красной глины, в стенах яра роет углубления и проходы. В них-то и засели казаки.

Рядом с Петром, держа винтовку наизготове, стоял, согнувшись, Антип Брехович, бредово шептал:

— Степка Астахов за хвост своего коня поймал... ускакал, а мне вот не

пришлось... А пехота бросила нас... Пропадаем, братцы!.. Видит бог, погибнем!..

Наверху послышался хруст бегущих шагов. В яр посыпались крошки снега, глина.

— Вот они! — шепнул Петро, хватая Антипку за рукав, но тот отчаянно вырвал руку, заглянул вверх, держа палец на спуске.

Сверху никто близко не подходил к прорезу яра.

Оттуда послышались голоса, окрики на лошадь..

«Советуются», — подумал Петро, и снова пот, словно широко разверзлись все поры тела, покатился по спине, по ложбине груди, лицу..

— Эй, вы! Вылазьте! Все равно побьем! — закричали сверху.

Снег подался в яр гуще, белой молочной струей.

Кто-то видимо, близко подошел к яру.

Другой голос там же уверенно проговорил:

— Сюда они прыгали, вот следы. Да я ведь сам видел!

— Петро Мелехов! Вылазы!

На секунду слепая радость полымем обняла Петра. «Кто меня из красных знает? Это же свои! Отбили!» Но тот же голос заставил его задрожать мелкой дрожью:

— Говорит Кошевой Михаил. Предлагаем сдаться добром. Все равно не уйдете!

Петро вытер мокрый лоб, на ладони остались полосы розового кровяного пота.

Какое-то странное чувство равнодушия, граничащего с забытьем, подкралось к нему.

И диким показался крик Антипки Бреха:

— Вылезем, коды посулитесь отпустить нас. А нет, — будем отстреливаться! Берите!

— Отпустим, — помолчав, ответили сверху.

Петро страшным усилием стряхнул с себя сонную одурь. В слове «отпустим» показалась ему невидимая ухмылка. Глухо крикнул: «Назад!» — но его уже



никто не слушался.

Петро вышел последним. В нем, как ребенок под сердцем женщины, властно ворохнулась жизнь. Руководимый самосохранением, он еще сообразил выкинуть из магазинки патроны, полез по крутому склону. Мutilось у него в глазах, сердце занимало всю грудь.

Было душно и тяжело, как в тяжелом сне в детстве. Он оборвал на ворота гимнастерки пуговицы, порвал воротник грязной нательной рубахи. Глаза ему застала пот, руки скользили по холодным уступам яра. Хрипя, он выбрался на утопанную площадку возле яра, кинул под ноги себе винтовку, поднял кверху руки. Тесно кучились вылезшие вперед него казаки. К ним, отделившись от большой толпы пеших и конных замурцев, шел Мишка Кошевой, подъезжали конные красноармейцы... Мишка подошел к Петру в упор, тихо, не поднимая от земли глаз, спросил:

— Навоевался? — Подождав ответа и все же, глядя Петру под ноги, спросил: — Ты командовал ими?

У Петра запрыгали губы. Жестом великой усталости, с трудом донес он руку до мокрого лба. Длинные выгнутые ресницы Мишки затрепетали, пухлая верхняя губа, осыпанная язвочками лихорадки, поползла вверх. Такая крупная дрожь забила Мишкино тело, что казалось, он не устоит на ногах, упадет. Но он сейчас же рывком вскинул на Петра глаза, глядя ему прямо в зрачки, вонзаясь в них странно-чужим взглядом, скороговоркой бормотнул «раздевайся!»

Петро проворно скинул полушубок, бережно свернул и положил его на снег: снял папаху, пояс, защитную рубашку и, присев на поду полушубка, стал стаскивать сапоги, с каждой секундой все больше и больше бледнея.

— Белье не сымай, — прошептал Мишка и, вздрогнув, вдруг пронзительно крикнул: — Живей, ты!. Мы вас, гадов, врагов, без слез наворачиваем!..

Петро засуетился, скомкал снятые с ног шестяные чулки, сунул их в голенища, выпрямившись ступил с полушубка на снег босыми, от снега шафранно-желтыми ногами.

— Кум! — чуть шевеля губами, позвал он Ивана Алексеевича. Тот молча смотрел, как под босыми ступнями Петра подтаивает снег. — Кум Иван, ты мово дитя крестил... Кум, не казните меня! — попросил Петро и, увидев, что Мишка уже поднял на уровень его груди наган, расширил глаза, будто собираясь увидеть нечто ослепительное, стремительно сложил пальцы в крестное знамение и как перед прыжком вообразил голову в плечи.

Он не слышал выстрела, падая навзничь, как от сильного толчка.

Протянутая рука Кошевого охватила его сердце и разом выжала из него кровь. Последним в жизни усилием Петро с трудом развернул ворот нательной рубахи, обнажив под левым соском пулевой надрез. Из него, помедлив, высочилась кровь, потом найдя выход, со свистом забила вверх дегтярно-черной струей.

### XXXIII

На заре разведка, посланная к Красному яру, вернулась с известием, что красных не обнаружено до еланской грани и что Петр Мелехов лежит там же в вершине яра.

Григорий распорядился посылкой за убитыми подвод, доночевывать ушел к Христоне. Выгнали его из дому бабы причитанья по мертвому, дурной плач в голос Дарьи. До рассвета просидел он в Христининой хате около прирубка. Жадно выкуривал папироску и, словно боясь остаться с глазу на глаз со своими мыслями, с тоской по Петру, снова, торопясь хватался за кисет, вдыхал доотказа терпкий дым, заводил с дремавшим Христонею посторонние разговоры.

Рассвело. Оттепель началась с раннего утра. Часам к десяти на унавоженной дороге показались лужи. С крыш капало. Голосили по-весеннему кочета, где-то, как в знойный полдень, одиноко кудахтали курица.

На сугреве, под солнечной стороной базов, терлись о плетни-быки. Ветром несло с бурых спин их осекшийся по весне волос. Пахло талым снегом приятно и пресно. Покачиваясь на голый

ветке яблони около Христининых ворот, чурликала крохотная желтопузая синичка-зимнуха.

Григорий стоял около ворот, ждал появления с бугра подвод и невольно переводил стрекотанье синицы на знакомый с детства язык. «То-чи-плуг! То-чи-пруг!» — радостно выговаривала бо-жья утеха — синичка — в этот растепельный день, а к морозу — знал Григорий — менялся ее голос, скороговоркой синица советовала, и получалось так же похоже: «Обувай чирики! Обувай чирики!»

Григорий перебрасывал взгляд с дороги на скачущую зимнуху. «То-чи-плуг! То-чи-плуг!» — выщелкивала она. И нечаянно вспомнилось Григорию, как вместе с Петром в детстве пали они в степи индюшат и Петро, тогда белоголовый, с вечно облупленным курносом носом, мастерски подражал индюшину бормотанью и так же переводил их говор на свой детский потешный язык. Он искусно воспроизводил писк обиженного индюшенка, тоненько выговаривая: «Все в сапожках, а я нет! Все в сапожках а я нет!» — И сейчас же, выкатывая глазенки, сгинул в локтях руки, как старый индюк, ходил боком, бормотал: «Гур! Гур! Гур! Гур! купим на базаре сорванцу сапожки!» Тогда Григорий смеялся счастливым смехом, просил еще погутарить по индюшину, упрасивал показать, как озабоченно бормочет индюшиный выводок, обнаруживший в траве какой-нибудь посторонний предмет, вроде жестянки, клочка материи, или напавший на стальной сверток пригревшейся гадюки.

В конце улицы показалась головная подвода. Сбочь ее шел казак. Следом за первой выползала вторая и третья. Григорий смахнул слезу и тихую улыбку непрощенных воспоминаний, торопливо пошел к своим воротам. / Мать, обезумевшую от горя, хотел он удерживать в первую страшную минуту и не допустить к подводе с трупом Петра. Рядом с передней подводой без шапки шагал Алешка Шамиль. Обрубком руки он прижимал к груди папаху, в правой держал волосяные вожжи. Григорий, не задержавшись взглядом на ли-

це Алешки, глянул на сани: на соломенной подстилке лицом вверх, лежал Мартин Шамиль. Лицо, зеленая гимнастерка на груди и втянутом животе залиты смерзшейся кровью. На второй подводе везли Маныцкова. Изрубленным лицом уткнут в солому. У него зябко втянута в плечи голова, а затылок срезан начисто умелым ударом: черные сосульки волос бахромой окаймляли обнаженные черепные кости. Григорий глянул на третью подводку: он не угадал мертвого, но руку с восковыми, желтыми от табака пальцами приметил. Она свисала с саней, чертила талый снег пальцами, перед смертью сложенными в крестное знамение. Мертвый был в сапогах и шинели; даже шапка лежала на груди.

Лошадь четвертой подводой Григорий схватил за уздцы, на рысках ввел ее во двор.

#### XXXIV

Приказом командующего объединенными повстанческими силами Верхнего Дона Григорий Мелехов назначен был командиром Вешенского полка. Десять сотен казаков повел Григорий на Каргинскую. Предписывал ему штаб во что бы то ни стало разгромить отряд Лихачева и выгнать его из пределов округа с тем, чтобы поднять все Чарские хутора Каргинской и Боковской станиц.

И Григорий 7 марта повел казаков. На оттаявшем бугре, покрытом черными голызинами, пропустил он мимо себя все десять сотен. Обочь шляху избоченясь, горбатился он на седле, туго натягивал поводья, сдерживал горячившегося коня, а мимо походными колоннами шли сотни Облонских хуторов: Базков, Белогорки, Ольшанского, Меркулова, Громковского, Семеновского, Рябинского, Водянского, Лебязьего, Ерика.

Перчаткой гладил Григорий черный ус, шевелил коршунячьим носом, изпод крылатых бровей угрюмым, осадистым взглядом провожал каждую сотню. Множество захлюстанных конских ног месили бурую толочь снега. Знакомые казаки, проезжая, улыбались Гри-

горию. Над папахами их слоился и таял табачный дымок. От лошадей шел пар.

Примкнул Григорий к последней сотне. Версты через три встретили их разъезд. Урядник, водивший разъезд, подскакал к Григорию.

— Отступают красные по дороге на Чукарина!

Боя лихачевский отряд на принял. Но Григорий кинул в обход три сотни и так нажал с остальными, что уже по Чукарину стали бросать красноармейцы подводы, зарядные ящики. На выезде из Чукарина, возле убогой церквенки застряла в речке лихачевская батарея. Ездовые обрубали построжки, через левады ускакали на Каргинскую.

Пятнадцать верст от Чукарина до Каргинской казаки прошли без боя. Правее за Ясеновкой разъезд противника обстрелял разведку вешенцев. На том дело и кончилось. Казаки уже начали пошучивать: «До Новочеркаска пойдет!»

Григория радовала захваченная батарея. «Даже замки не успели попортить», — пренебрежительно подумал он. Быками выручали застрявшие орудия. Из сотен в момент набралась прислуга. Орудия шли в двойной упряжке: шесть пар лошадей тянули каждое. Полусотня, назначенная в прикрытие, сопровождала батарею.

В сумерках налетом забрали Каргинскую. Часть лихачевского отряда с остальными тремя орудиями и девятью пулеметами была взята в плен. Остальные вместе с каргинским ревкомом успели хуторами бежать в направлении Боковской станицы.

Всю ночь парил дождь. К утру заиграли лога и буераки. Дороги стали непроездны, что ни ложок — ловушка. Напитанный водой снег проваливался до земли. Лошади стряли, люди падали от усталости.

Две сотни под командой базковского хорунжего Ермакова Харлампия, высланные Григорием для преследования отступающего противника, переловили в сплошных хуторах — Латышевском и Вислогузовском — около тридцати отставших красноармейцев; утром привели их на Каргинскую.

Григорий стал на квартире в огромном доме местного богача Каргина. Пленных пригнали к нему во двор. Ермаков вошел к Григорию поздоровался:

— Взял двадцать семь красных. Тебе там вестовой коня подвел, зараз выезжаешь, штоль?

Григорий подпоясал шинель, причесал перед зеркалом свалывшиеся под папахой волосы, только тогда повернулся к Ермакову.

— Поедем. Выступить сейчас. На площади устроим митинг, — и в поход.

— Нужен он, митинг! — Ермаков повел плечом, улыбнулся. — Они и без митинга уже все на конях. Да вон, гляди! Это не вешенцы подходят сюда!

Григорий выглянул в окно: по четыре в ряд, в прекрасном порядке шли две сотни. Казаки — как на выбор, кони — хоть на смор.

— Откуда это? Откуда их чорт принес? — радостно бормотал Григорий, на бегу надевая шапку. Ермаков догнал его у ворот. К калитке уже подходил сотенный командир передней сотни. Он почтительно держал руку у края папки, протянуть ее Григорию не осмелился.

— Вы товарищ Мелехов?

— Я. Откуда вы?

— Примите в свою часть. Присоединяемся к вам. Наша сотня сформирована за нынешнюю ночь. Это с хутора Лиховилова, а другие две сотни — с Грачева, с Архиповки и Васильевки.

— Ведите казаков на площадь. Там зараз митинг будет.

Вестовой (Григорий взял в вестовые Прохора Зыкова) подал ему коня, даже стремя подержал. Ермаков как-то особенно ловко, почти не касаясь луки и гривы, вскинул в седло свое сухощавое железное тело, спросил, подъезжая и привычно опираясь над седлом разрез шинели:

— С пленниками как быть?

Григорий взял его за пуговицу шинели, близко нагнулся, клонясь с седла. В глазах его сверкнули рыжие искорки, но губы под усами, хоть и зловато, но улыбались.

— В Вешки прикажи отогнать. По-

нял? Штоб ушли не дальше вон энтова кургана!

Он махнул плетью в направлении нависшего над станицей песчаного кургана, тронул коня. «Это им за Петра первый платеж» — подумал он, трогая рысью и без видимой причины плетью выбил на крупе коня белесый вспухший рубец.

### XXXV

Из Каргинской Григорий повел на Боковскую уже три с половиной тысячи сабель. Вдгон ему штаб и окрисполком слали нарочными приказы и распоряжения. Один из чинов штаба в частной записке витьевато просил Григория:

«Многоуважаемый товарищ Григорий Пантелеевич! До нашего сведения коварные доходят слухи, якобы ты учиняешь жестокую расправу над пленными красноармейцами. Будто бы по твоему приказу уничтожены — сиречь порубаны — тридцать красноармейцев, взятых Харлампием Ермаковым под Боковской. Среди означенных пленных, по слухам, был один комиссаришка, кой мог нам очень пригодиться, на предмет освещения их сил. Ты, дорогой товарищ, отмени приказ пленных не брать. Такой приказ нам вредный ужасно, и казаки вроде роптают даже на такую жестокость и боятся, что и красные будут пленных рубить и хутора наши уничтожать. Командный состав тоже преповождай живьем. Мы их потихоньку будем убирать в Вешках либо в Казанской, а ты идешь со своими сотнями, как Тарас Бульба из исторического романа писателя Пушкина, и все предаешь огню и мечу и казаков волнуешь. Ты остепенись пожалуйста, пленным смерти не предавай, а направляй к нам. В вышеуказанном и будет наша сила. А за сим будь здоров. Шлем тебе низкий поклон и ждем успехов».

Письмо Григорий, не дочитав, разорвал, кинул под ноги коню. Кудинову на его приказ «Немедленно развивай наступление на юг, участок Крутенький — Астахово — Греково. Штаб считает необходимым соединить с фрон-

том кадетов. В противном случае нас окружают и разобьют». Не сходя с седла написал: «Наступаю на Боковскую, преследую бегущего противника. А на Крутенький не пойду, приказ твой считаю глупым. И за кем я пойду наступать на Астахово? Там, окромя ветра и хохлов, никого нет».

На этом официальная переписка его с повстанческим центром закончилась. Сотни, разбитые на два полка прихотили к граничащему с Боковской хутору Конькову, ратный успех еще в течение трех дней не покидал Григория. С боем заняв Боковскую, он на свой риск тронулся на Краснокутскую. Искрошил небольшой отряд, заградивший ему дорогу, но взятых пленных рубить не приказал, отправил в тыл.

9 марта он уже подводил полки к слободе Чистяково. К этому времени красное командование, почувствовав угрозу с тыла, кинуло на восстание несколько полков и батарей. Под Чистяковой подошедшие красные полки цокнулись с полками Григория. Бой продолжался часа три. Опасаясь «мешка», Григорий оттянул части к Краснокутской. Но в утреннем бою 10 марта вешенцев изрядно потрепали красные хоперские казаки. В атаке и контратаке сошлись донцы с обеих сторон, рубанулись, как и надо, и Григорий, потеряв в бою коня, с разрубленной щекой вывел полки из боя, отошел до Боковской.

Вечером он допросил пленного хоперца. Перед ним стоял немолодой казак Тепикинской станицы, белобрый узкогрудый, с ключьями красного банта на отвороте шинели. На вопросы он отвечал охотливо, но улыбался туго и как-то вкось.

— Какие полки были в бою вчера?

— Наш третий казачий имени Стеньки Разина. В нем почти все Хоперского округа казаки. Пятый Заамурский, двенадцатый кавалерийский и шестой Мценский.

— Под чьей общей командой? Говорят Киквидзе вел?

— Нет, товарищ Домнич сводным отрядом командовал.

— Припасов много у вас?

— Чорт-те сколько!

— Орудий?

— Восемь, никак.

— Откуда сняли полк?

— С Каменских хуторов.

— Объяснили, куда посылают?

Казак помялся, но все же ответил. Григорию захотелось поведать о настроении хоперцев.

— Што гутарили промеж себя казаки?

— Неохота, мол, иттить...

— Знают в полку, против чего мы восстали?

— Откеда же знать-то?

— Почему ж неохотно шли?

— Ды-к казаки же вы-то! А тут на-доело пестаться с войной. Мы ить как с Мироновым пошли — и вот досе.

— У нас, может, послужишь?

Казак пожал узкими плечами.

— Воля ваша! Оно бы неохота...

— Ну, ступай. Пустим к жене... На-скупал, небось?

Григорий, сузив глаза, посмотрел вслед уходившему казаку, позвал Прохора. Долго курил, молчал. Потом подошел к окну, стоя спиной к Прохору, спокойно приказал.

— Скажи ребятам, штоб вон энтова, какова я зараз допрашивал, потихоньку увели в сады. Казаков красных я в плен не беру! — Григорий круто повернулся на стоптанных каблуках. — Не-хай зараз же ево... Ходи!

Прохор ушел. С минуту стоял Григорий, обламывая хрупкие веточки герани на окне, потом проворно вышел на крыльцо. Прохор тихо говорил с казаками, сидевшими на сугреве под амбаром.

— Пустите пленнова. Пуцай ему пропуск напишут, — не глядя на казаков, сказал Григорий и вернулся в комнату, стал перед стареньким зеркалом, недоуменно развел руками. Он не мог объяснить себе, почему он вышел и велел отпустить пленного. Ведь испытал же он некоторое злорадное чувство что-то похожее на удовлетворение, когда с усмешкой про себя проговорил: «Пустим к жене... Ступай», — а сам знал, что сейчас позовет Прохора и прикажет хоперца стукнуть в садах. Ему было слегка досадно на чувство жалости, — что же иное, как не безот-

четная жалость, вторглось ему в сознание и побудило освободить врага? И в то же время освежающе радостно... Как это случилось? Он сам не мог дать себе отчета. И это было тем более странно, что вчера же сам он говорил казакам: «Мужик — враг, но казак, какой зараз идет с красными, — двух врагов стоит! Казаку, как шпиону, суд короткий: раз, два — и в божьи ворота».

С этим неразрешенным саднящим противоречием, с восставшим чувством неправоты своего дела, Григорий и покинул квартиру. К нему пришли командир Чирского полка — высокий атаманец с неприметными, мелкими, стирающимися в памяти чертами лица и двое сотенных.

— Подвалили ишо подкрепления! — улыбаясь, сообщил полковой. — Три тысячи конных, с Напалова, с Яблоневой речки, с Гусынки, окромя двух сотен пеших. Куда ты их будешь девать, Пантелевич?

Григорий повесил маузер и щегольскую полевую сумку, доставшиеся от Лихачева, вышел на баз. Тепло грело солнце. Небо было по-летнему высоко и сине, и по-летнему шли на юг белые барашковые облака. Григорий на прогулке собрал всех командиров посещаться. Сошлось их около тридцати человек, расселись на поваленном плетне, загулял по рукам чей-то кисет.

— Какие будем планы строить? Каким родом нам резануть вот эти полки, што потеснили нас от Чистяковки, и куда будем путя держать? — спросил Григорий и попутно передал содержание приказа Кудинова.

— А сколько их супротив нас? До-знался у пленнова? — помолчав, спросил один из сотенных.

Григорий перечислил полки, противостоящие им, бегло подсчитал вероятное число штыков и сабель противника. Помолчали казаки. На совете нельзя было выступать с глупым, необдуманном словом. Грачевский сотенный так и сказал:

— Погоди трошки, Мелехов! Дай подумать. Это ить не палашом сека-нуть. Как бы не прошибиться.

Он же первый и заговорил,

Григорий выслушал всех внимательно. Мнение большинства высказавшихся сводилось к тому, чтобы не зарываться далеко даже в случае успеха и вести оборонительную войну. Впрочем, один из чирцев горячо поддерживал приказ командующего повстанческими силами, говорил:

— Нам нечего тут топтаться. Пушай Мелехов ведет нас к Донцу. Што вы—ума решились? Нас кучка, а за плечами вся Россия. Как мы можем устоять? Даванут нас—и пропали! Надо пробиваться! Хучь и чуток у нас патрон, но мы их добудем. Рейду надо дать! Решайтесь!

— А народ куда денешь? Баб, стариков, детишков?

— Нехай остаются!

— Умная у тебя голова, да дураку досталась!

До этого сидевшие на краю плетня командиры шопотом говорили о подступавшей весенней пахоте, о том, что станется с хозяйствами, ежели придется итти на прорыв, но после речи чирца загорланили все. Совещание разом приняло бурный характер какого-нибудь хуторского схода. Выше остальных поднял голос престарелый казак с Наполова.

— От своих плетней не пойдем! Я первый уведу свою сотню на хутор! Биться, так возле своих куреней, а не чужую жизнь спасать!

— Ты мне нагорло не наступай! Я рассуждаю, а ты... орать!

— Да што и гутарить!

— Пушай Кудинов сам идет к Донцу!

Григорий, выждав тишину, положил на весы спора решающее слово:

— Фронт будем держать тут! Станет с нами Краснокутская,—будем и ее оборонять. Иттить некуда. Совет покончился. По сотням! Зараз же выступаем на позиции.

Через полчаса, когда густые лавы конницы нескончаемо потекли по улицам, Григорий остро ощутил горделивую радость: таким количеством людей он еще никогда не командовал. Но рядом с самолюбивой радостью, тяжело ворохнулись в нем тревога, терпкая горечь: сумеет ли он водить

так как надо? Хватит ли у него умения управлять тысячами казаков? Не сотня, а дивизия была в его подчинении. И ему ли, малограмотному казаку, властвовать над тысячами жизней и нести за них крестную ответственность. «А главное—против кого веду? Против народа... Кто же прав? Господи...» Жизнь!..

Григорий, скрипя зубами, провожал проходившие сомкнутым строем сотни. Опьяняющая сила власти состарилась и поблекла в его глазах, тревога, горечь остались, наваливаясь непереносной тяжестью, горбя плечи.

### XXXVI

Весна отворяла жилы рек. Ядренше становились дни, звучнее нагорные зеленые потоки. Солнце приметно порыжело, слиняла на нем немощно-желтая окраска. Остья солнечных лучей стали ворсистей и уже покалывали теплом. В полдень дарилась оголенная пахота, нестерпимо сиял ноздреватый чешуйчатый снег. Воздух, напитанный пресной влагой, был густ и духовит.

В спину Григорию грело солнце. Грело всему полку. Подушки седел приятно потеплели, бурые казачьи щеки увлажнял мокрогубый ветер. Иногда приносил он и холодок с заснеженного бугра. Но тепло одолевало зиму. По-военному ярвито взыгрывали кони, сыпался с них линючий волос, резче колот ноздри конский пот.

Казак уже подвязали коням мочалистые хвосты. Уже ненужными болтались на спинах всадников башлыки верблюжьей шерсти, а под папахами мокрели лбы и жарковато становилось в полушубках и теплых чекменях.

Вел Григорий полк летним шляхом. Вдали за распятым ветряка разворачивались в лаву эскадроны красных: возле хутора Свиридова начинался бой.

Еще не умел Григорий, как полагалось ему, руководить со стороны. Он сам водил в бой сотни вешенцев, затыкал ими самые опасные места. И бой вершился без общего управления. Каждый полк, нарушая предварительный сло-

вор, действовал в зависимости от того, как складывались обстоятельства.

Фронта не было. Это давало возможность широкого разворота в маневрировании.

Обилие конницы (в отряде Григория она преобладала) было важным преимуществом. Используя это преимущество, Григорий решил вести войну «казачьим» способом: охватывать фланги, заходить в тыл, громить обозы, тревожить и деморализовать красных ночными набегами.

Но под Свиридовым решил он действовать иначе: крупной рысью вывел на позиции сотни, одну из них оставил в хуторе, приказал спешиться, залечь в левадах в засаду, предварительно отправив коноводов вглубь хутора, в дворы, а с двумя остальными выскочил на пригорок в полверсте от ветряка и помалу ввязался в бой.

Против него было побольше двух эскадронов красной кавалерии. Это не были хоперцы, так как в бинокль Григорий видел маштаковатых, не донских коньков с подрезанными хвостами, а казаки хвосты коням никогда не резали, не срамили лошадиную красоту. Следовательно, наступал или 13-й кавалерийский или вновь подошедшие части.

Григорий с пригорка рассматривал местность в бинокль. С седла всегда просторней ему земля и уверенней чувствовал он себя, когда носки сапогов покоились в стремях.

Он видел, как той стороной реки Чира бугром двигалась бурая длинная колонна в три с половиной тысячи казаков. Она, медленно извиваясь, поднималась в гору, уходила на север, на грань Еланского и Усть-Хоперского юртов, чтобы там встретить наступающего от Усть-Медведицы противника и помочь изнемогавшим в борьбе еланцам.

Версты полторы расстояния отделяло Григория от готовившейся к атаке лавы красных. Григорий, торопливо, по старому образцу, развернул свои сотни. Пики были не у всех казаков, но те, у кого они были, выдвинулись в первую шеренгу, отъехали сажен на десять вперед. Григорий выскакал вперед первой шеренги, стал в полуоборота, вынул шашку.

— Тихой рысью марш!

В первую минуту под ним споткнулся конь, попав ногой в заваленную снегом сурчину. Григорий выправился в седле, побледнел от злости и сильно ударил коня шашкой плашмя. Под ним был добрый, взятый у одного из вешенских, строевой резвач, но Григорий относился к нему с затаенной недоверчивостью. Он знал, что конь за два дня не мог привыкнуть к нему, да и сам он не изучил его повадки и характер: боялся, что не будет чужой конь понимать его с полслова, с крохотного движения поводками, так, как понимал свой, убитый под Чистяковой. После того как удар шашки взгорячил коня и он, не слушаясь поводов, захватил в намет, Григорий внутренне похолодел и даже чуть растерялся. «Подведет он меня!» — полонулась колючая мысль. Но чем дальше и ровнее сталался в машистом намете конь, чем больше повиновался он еле заметному движению руки, направлявшей его бег, — увереннее и холоднее становился Григорий. На секунду оторвавшись взглядом от двигавшейся встречей качкой раздробившейся лавы противника, скользнул он глазами по шее коня: рыжие конские уши были плотно и зло прижаты, шея, вытянутая, как на плаху, ритмически вздрагивала. Григорий выпрямился в седле, жадно набрал в легкие воздуха, глубоко посунул сапоги в стремяна, оглянулся. Сколько раз он видел сзади себя эту грохочущую слитую из всадников и лошадей лавину, и каждый раз его сердце сжималось страхом перед двигающимся, и каким-то необъяснимым чувством дикого животного возбуждения. От момента, когда он выпускал лошадь и до того, пока не дорывался до противника, был неуловимый миг внутреннего преобразования. Разум, хладнокровие, расчетливость — все покидало Григория в этот страшный миг, и один звериный инстинкт властно и неделимо вступал в управление его волей. Если бы кто мог посмотреть на Григория со стороны в час атаки, тот, наверно, думал бы, что движениями его управляет холодный нетеряющийся ум. Так были они с виду уверенны, выверены и расчетливы...

Расстояние между обеими сторонами сокращалось с облегчающей быстротой. Крупнели фигуры всадников, лошадей. Короткий кусок бурьянистой, засыпанной снегом хуторской толоки, бывшей между двумя конными лавами, поглощался конскими копытами. Григорий заметил одного всадника, скакавшего впереди своего эскадрона примерно на три лошадиных корпуса. Караковый рослый конь под ним шел куцым волчьим скоком. Всадник шевелил в воздухе офицерской саблей, серебряные ножны болтались и билась о стремя, огнисто поблескивая на солнце. Через секунду Григорий угадал всадника. Это был каргинский коммунист из иногородних Петр Семиглазов. В 17-м году с германской первый пришел он тогда — двадцатичетырехлетний молодой парняга, — в невиданных доселе обмотках; принес с собой большевистские убеждения и твердил фронтовую напористость. Большевиком он и остался. Служил в Красной армии и перед восстанием пришел из части устраивать в станице советскую власть. Этот-то Семиглазов и скакал на Григория, уверенно правя конем, картинно потрясая отобранной при обыске офицерской саблей.

Оскалив плотно стиснутые зубы, Григорий приподнял поводья, и конь послушно наддал ходу.

Был у Григория один, ему лишь свойственный маневр, который применял он в атаке. Он прибегал к нему, когда чутьем и взглядом распознавал сильного противника, или тогда, когда хотел сразить наверняка, на-смерть, сразить одним ударом во чтобы то ни стало. С детства Григорий был левшой лет до десяти. Он и ложку брал левой рукой, и крестился ей же. Жестоко бивал его за это Пантелей Прокофьевич, даже ребятишки-сверстники прозвали его «Гришка-левша». Побой и ругань, надо думать, возымели действие на малолетнего Гришку. С десяти лет вместе с кличкой «левша» отпала у него и привычка заменять правую руку левой. Но до последнего времени он мог с успехом делать левой все то, что делал правой. И левая рука была у него даже сильнее правой. В атаке Григорий поль-

зовался всегда и с неизменным успехом этим преимуществом. Он вел коня на выбранного противника, как и обычно все, заходя слева, чтобы правой рубить; также норовил и тот, который должен был сшибиться с Григорием. И вот, когда до противника оставался какой-нибудь десяток сажен, и тот уже чуть свешивался набок, заноса, шашку, Григорий крутым, но мягким поворотом заходил справа, перебрасывал шашку в левую руку. Обескураженный противник меняет положение, ему неудобно рубить справа налево, через голову лошади, он теряет уверенность, смерть дышит ему в лицо... Григорий рушит страшный по силе режущий удар с попятком.

Со времени, когда Чубатый учил Григория рубке «баклановскому» удару, ушло много воды. За две войны Григорий «наломал» руку. Шашкой владеть — не за плугом ходить. Многие постиг он в технике рубки.

Никогда не прозвевал кисть в темляк, чтобы легче было кинуть шашку из руки в руку в короткий неуловимый миг. Знал он, что при сильном ударе, если неправильный будет у шашки крен, вырвет ее из руки, а то и кисть вывихнет. Знал прием, очень немногим дающийся, как еле заметным движением выбить у врага оружие, или коротким, несильным прикосновением парализовать руку. Многие знал Григорий из той науки, что учит умерщвлять людей холодным оружием.

На рубке лозы от лихого удара падает косо срезанная хворостинка, не дрогнув, не ворохнув подстановки. Мягко воткнется острым концом в песок, рядом со стеблем, от которого отделила ее казачья шашка. Так и калмыковатый красивый Семиглазов опустился под вздыбившегося коня, тихо сполз с седла, зажимая ладонями наискось разрубленную грудь. Смертным холодом оделось тело...

Григорий в ту же секунду выпрямился в седле, привстал на стремяна. На него слепо летел, уже не в силах сдержат коня, второй. За задратой запященной конской мордой Григорий не видел еще всадника, но видел горбатый спуск шаш-



ки, темные доли ее. Изо всей силы дернул Григорий поводья, принял и отвел удар, забирая в руку правый повод, рубанул по склоненной, подбритой красной шее.

Он первый выскакал из раздерганной смешавшейся толпы. В глазах — копошащаяся куча конных. На ладони нервный зуд. Кинул шашку в ножны, рванул маузер, тронул коня назад уже во весь мах. За ним устремились казаки. Сотни шли в россыпь. То там, то сям виднелись папахи и малахаи с белыми перевязками, припавшие к лошадиным шеем. Сбочь Григория скакал знакомый урядник в лисьем треухе, в защитном полубубке. У него — разрублено ухо и щека до самого подбородка. На груди будто корзину спелой вишни раздавили. Зубы оскалены и залиты красным.

Красноармейцы, дрогнувшие и наполовину тоже обратившиеся в бегство, повернули лошадей. Отступление казаков распалило их на погоню. Одного приотставшего казака, как ветром снесло с лошади и лошадьями втолчило в снег. Вот-вот- хутор, черные купы садов, часовенка на пригорке, широкий проулок. До плетней левады, где лежала в засаде сотня осталось не более ста сажень... С конских спин — мыло и кровь Григорий, на скоку яростно жавший спуск маузера, сунул его в коробку (патрон пошел на перекос), грозно крикнул: — Делись!!!.

Слитная струя казачьих сотен, как стремя реки, наткнувшись на утес, плавно разлилась на два рукава, обнажив красноармейскую лаву. По ней из-за плетня сотня, лежавшая в засаде, шлохнула залпом, другим, третьим. Крик! Лошадь с красноармейцем зашкобырдала через голову. У другой колени подогнулись, морда по уши в снег. С седел сорвали пули еще трех или четырех красноармейцев. Пока на всем скаку остальные, грудясь, повернули лошадей, по ним расстреляли по обойме и умолкли. Григорий только что успел крикнуть сорвавшимся голосом:

— Со-о-отни!

Как тысячи конских ног, взрыхляя на крутом повороте снег, повернулись и пошли вдогон. Но преследовали неохот-

но. Пристали кони. Версты через полторы вернулись. Раздели убитых красноармейцев, расседлали убитых лошадей. Трех раненых добивал косорукий Алешка Шамиль. Он ставил их лицом к плетню, рубил по очереди. После долгоazole дорубленных толпились казаки, курили, рассматривали трупы; у всех трех одинаковые были приметы: туловища развалены наискось от ключиц до пояса.

— Из трех шестерых сделал! — хвастался Алешка, мигая глазом, дергая щекой. Его подобострастно угощали табаком, смотрели с нескрываемым уважением на небольшой Алешкин кулак, величиной с ядреную травянку, на выпуклый заслон груди, распиравшей чекмень.

У плетня, накинутые шинели, дрожали мокрые кони. Казаки подтягивали подпруги. На проулке у колодезя в очередь стояли за водой. Многие в поводу вели усталых, волочащих ноги лошадей.

Григорий уехал с Прохором и пятью казаками вперед. Слово повязка свалилась у него с глаз. Опять, как и перед атакой, увидел он светившее миру солнце, притаявший снег с прикладков соломы, слышал по хутору весеннее чулюканье воробьев, ощущал тончайшие запахи ставшей на порог дней весны. Жизнь вернулась к нему не поблекшая, не состарившаяся от пролитой недавно крови, а еще более манящая скупыми и обманчивыми радостями. На черном фоне оттаявшей земли всегда заманчивей и ярче белеет оставшийся кусочек снега...

### XXXVII

Подой водой взбугрилось и разлилось восстание, затопило все Обдонье, задонские степные края на чetyреста верст в окружности. Двадцать пять тысяч казаков сели на конь. Десять тысяч пехоты высточили хутора Верхне-Денского округа.

Война принимала формы досель невиданные. Где-то около Донца держала фронт донская армия, прикрывая Новочеркасск, готовясь к решающей схват-

ке. А в тылу противостоявших ей восьмой и девятой красных армий бурлило восстание, бесконечно осложняя и без того трудную задачу овладения Доном.

В апреле перед Реввоенсоветом Республики со всей отчетливостью встала угроза, соединения повстанцев с фронтом белых. Требовалось задавить восстание во чтобы то ни стало, пока оно не успело с тыла разьесть участок красного фронта и слиться с донской армией. На восстание стали перебрасываться лучшие силы: в число экспедиционных войск вливали экипажи матросов, балтийцев, и черноморцев, надежнейшие полки, команды бронепоездов, наиболее лихие кавалерийские части. С фронта целиком были сняты пять полков боевой Богучарской дивизии, насчитывавшей до восьми тысяч штыков при нескольких батареях и пятисгах пулеметах. В апреле на Казанском участке повстанческого фронта уже дрались с беззаветным мужеством Рязанские и Тамбовские курсы, позднее прибыла часть школы ВЦИКа, под Шумилинской билась с повстанцами латышские стрелки.

Казаки задыхались от нехватки боевого снаряжения. Вначале не было достаточного количества винтовок, кончались патроны. Их надо было добывать ценою крови; их надо было отбивать атакой или ночным набегом. И отбивали. В апреле у повстанцев уже было полное количество винтовок, шесть батарей и около полутораста пулеметов.

Вначале восстания в Вешенской на складе осталось пять миллионов холостых патронов. Окружной совет мобилизовал лучших кузнецов, слесарей, ружейников. В Вешенской организовалась мастерская по отливке пуль, но не было свинца, не из чего было лить пули. Тогда по призыву окружного совета по всем хуторам стали собирать свинец и медь. С паровых мельниц были взяты все запасы свинца и бабита. Кинули по хуторам с верховыми гонцами короткое воззвание:

«Вашим мужьям, сыновьям и братьям нечем стрелять. Они стреляют только тем, что отобьют у проклятого врага. Сдайте все, что есть в ваших хозяйст-

вах годного на литье пуль! Снимите с вейлок свинцовые решета».

Через неделю по всему округу ни на одной вейлке не осталось решет.

«Вашим мужьям, сыновьям, братьям нечем стрелять». — И бабы несли в хуторские советы все годное и негодное, ребятишки хуторов, где шли бой, выковыривали из стен картечь, рылись в земле в поисках осколков. Но и в этом деле не было крутого единства: кое-каких бабенок из бедноты, не желавшей лишиться последней хозяйственной мелочи, арестовали и отправили в округ за «сочувствие красным». В Татарском зажиточные старики в кровь избili пришедшего из части в отпуск Семена Чугуна за единую неосторожную фразу: «Богатые нехай вейлки разоряют. Им, небось, красные-то страшнее разорения».

Запасы свинца плавилась в Вешенской мастерской, но отлитые пули, лишенные никелевой оболочки, тоже плавилась... После выстрела самодельная пуля вылетала из ствола растопленным свинцовым комочком, летела с диким воем и фурчаньем, но разила только на сто-сто двадцать сажен. Зато раны, наносимые такими пулями, были ужасны. Красноармейцы, разузнав, в чем дело, иногда близко съезжаясь с разъездами казаков, орали: «Руками стреляете... Сдавайтесь, все равно всех перебьем!»

Тридцать пять тысяч повстанцев делились на пять дивизий и шестую по счету отдельную бригаду. На участке Мещковская — Сетраков — Вежа билась третья дивизия под командой Егорова. Участок Казанская — Донецкое — Шумилинская занимала четвертая дивизия. Водил ее угрюмейший с виду подхорунжий, рубака и чорт в бою Кондрат Медведев. Пятая дивизия дралась на фронте Слащевская — Букановская, командовал ею Ушаков. В направлении Еланские хутора — Усть-Хоперская — Горбаты, бился со своей второй дивизией вахмистр Меркулов. Там же была и шестая отдельная бригада, крепко сколоченная, почти не несшая урона, потому что командовавший ею максеевский казак, чинном подхорунжий, Богатырев, был осмотрителен, осторожен, никогда не ри-

сковал и людей зря в трату не давал. По Чиру раскидал свою первую дивизию Мелехов Григорий. Его участок был лобовым, на него с юга обрушивались отрываемые с фронта красные части, но он успевал не только отражать натиски противника, но и пособлять менее устойчивой второй дивизии, перебрасывая на помощь ей пехи и конные сотни.

Восстанию не удалось перебраться в станицы Хоперского и Усть-Медведевского округов. Было и там брожение, являлись и оттуда гонцы с просьбами двинуть силы к Бузулуку и в верховья Хопра, чтобы поднять казаков, но повстанческое командование не решилось выходить за пределы Верхне-Донского округа, зная, что в основной массе хоперцы подпирают советскую власть и за оружие не возьмутся. Да и гонцы успехов не сулили, направдок рассказывая, что недовольных красными по хуторам не так-то много, что офицеры, оставшиеся по глухим углам Хоперского округа, скрываются, значительных сил, сочувствовавших бы восстанию, сколотить не могут, так как фронтовики, либо дома, либо с Мироновым, а стариков загнали, как телят в закут, и ни силы, ни прежнего веса они уже не имеют.

На юге, в волостях, населенных украинцами, красные мобилизовали молодежь, и та с большой охотой дралась с повстанцами, влившись в полки боевой Богучарской дивизии.

Восстание замкнулось в кругу Верхне-Донского округа. И все яснее становилось всем, начиная с повстанческого командования, что долго оборонять родные курени не придется,—рано иль поздно, а Красная армия, повернувшись от Донца, задавит.

18 марта Григория Мелехова Кудинов вызвал в Вешенскую на совещание. Поручив командование дивизией своему помощнику Рябчикову, Григорий рано утром с двумя ординарцами выехал в округ.

В штаб он явился как раз в тот момент, когда Кудинов в присутствии Сафонова вел переговоры с одним из гонцов Алексеевской станицы. Кудинов, сгорбясь, сидел за письменным столом,

вертел в сухих смуглых пальцах кончик своего кавказского ремешка, и, не поднимая опухлых, гноящихся от бессонных ночей глаз, спрашивал у казака, сидевшего против него:

— А сами-то вы што? Вы-то чево думаете?

— Оно и мы конешно... самим как-то не сподручно... Кто его знает, как и што другие А тут, знаешь, народ какой? — робеют. И гребтятся им и тож самое робеют...

— Гребтятся! Робеют! — злобно бледнея, прокричал Кудинов и ерзнул в кресле, будто жару сыпанули ему на сиденье.— Все вы, мать вашу, как красные девки! И хочется, и колется, и маменька не велит. Ну, и ступай в свою Алексеевскую, скажи своим старикам, што мы и взвода не пошлем в ваш юрт, покедо ва вы сами не начнете. Нехай вас хучь по одному красные перевешают!

Багровая рука казачины трудно сдвинула на затылок искристый лисий малахай. По морщинам лба, как по ерикам вешняя вода, стремительно сыпал пот, короткие белесые ресницы часто мигали, а глаза смотрели улыбочато и виновато.

— Оно, конешно, чума вас заставить итить к нам. Но тут все дело в почине. Дороже денег этот самый почин...

Григорий, внимательно слушавший разговор, посторонился: из коридора в комнату без стука шагнул одетый в дубленый полушубок, невысокий черноусый человек. Он поздоровался с Кудиновым кивком головы, присел к столу, подперев щеку белой ладонью. Григорий, знавший в лицо всех штабных, видел его впервые, всмотрелся: тонко очерченное лицо, смуглое, но не обветренное и не тронутое солнцем, мягкая белизна рук, интеллигентные манеры, все изоблачало в нем человека не местного.

— Кудинов, указывая глазами на незнакомца, обратился к Григорию:

— Познакомься, Мелехов. Это — товарищ Георгидзе. Он... — и замялся, повертел черного серебра бирюльку на пояске, сказал, вставая и обращаясь к гонцу Алексеевской станицы: — Ну, ты,

станишник, иди. У нас зарез дела заступают. Езжай домой и слова мои передай кому следует.

Казак поднялся со стула. Пламенно рыжий с черными ворсинками лисий малахай почти достал потолок. И сразу от широких плеч казака, заслонивших свет, комната стала маленькой и тесной.

— За помощью прибежал? — обратился Григорий, все еще неприязненно ощущая на ладони рукопожатье кавказца.

— Во-во! За помощью. Да оно, видишь, как выходит... — казак обрадованно повернулся к Григорию, ища глазами поддержки. Красное, под цвет малахая, лицо его было так растерянно, пот омывал его так обильно, что даже борода и пониклые рыжие усы были осыпаны будто мелким бисером.

— Не полюбилась и вам советская власть? — продолжал расспросы Григорий, делая вид, что не видит нетерпеливых движений Кудинова.

— Оно бы, братуша, ничево, — рассудительно забасил казачина, — да опасемся, как бы хуже не стало.

— Расстрелы были у вас?

— Нет, упаси бог! Такова не слышать. Ну, а словом лошадок брали, зернецо, ну, конечно, рестокали народ, какой против гуторил. Страх в глазах, одно слово.

— А если б пришли вешенцы к вам, поднялись бы? Все бы поднялись?

Мелкие позлащенные солнцем глаза казака хитро прижмурились, вильнули от глаз Григория, малахай пополз на лоб, отягченный в этот миг складками и буграми раздумья.

— За всех как сказать... Ну, а хозяйственные казаки, конечно, поперли ба.

— А бедные не хозяйственные? — Григорий до этого тщетно пытавшийся поймать взгляд собеседника, встретил его по-детски изумленный, прямой.

— Хм!.. лодыри с какова ж пятерика пойдут? Им самая жизнь пришла с этой властью, вакан!

— Так чево ж ты, тополина чортова!.. — уже с нескрываемой злобой закричал Кудинов и кресло под ним протяжно заскрипело: — Чево ж ты приехал подбивать нас? Што ж у вас аль все богатые? Какое ж это в... восстание,

ежли в хуторе два-три двора подымутся. Иди отселева, ступай, говорят тебе! Жареный кочет вас ишо в зад не клюнул, а вот как клонет — тогда и без нашей помочи зачнете воевать! Приобыкли, сукины сыны, за чужой спиной затишек пахать. Вам бы на пече да в горячем просе... Ну, иди, иди! Глядеть на тебя, на чорта, тошно!

Григорий нахмурился, отвернулся. У Кудинова по лицу все явственней проступали красные пятна, Георгидзе крутил ус, шевелил ноздрей круто горбатого, как стесанного, носа.

— Просим прощенья, коли так. А ты, ваше благородие, не шуми и не пужай, тут дело полюбовное. Просьбицу наших стариков я вам передал и ответец ваш отвезу им, а шуметь нечево! И до каких же пор на православных шуметь будут? Белые шумели, красные шумели, зараз вот ты пришумливаешь, всяк власть свою показывает да ишо салазки тебе норовит загнуть... Эх ты жизня хрестьянская, поганой сукой лизаная!.. — казак остервенело нахлобучил малахай, глыбой вывалился в коридор, тихонько притворил дверь: но за то в коридоре развязал руки гневу и так хлопнул выходной дверью, что штукатурка минут пять сыпалась на пол и подоконники.

— Ну и народишко пошел! — уже весело улыбался Кудинов, играя пояском, добрея с каждой минутой. — В семнадцатом году весной еду на станцию, пахота шла, время около пасхи. Пашут свободные казачки и чисто одурели от этой свободы, дороги все как есть запахивают, скажи, будто земли им мало! За Токинским хутором зову такова пахаря, подходит к тарантафу. «Ты, такой-сякой, зачем дорогу перепахал?» Оробел парень: «Не буду, говорит, низко извиняюсь, могу даже сравнять». Таким манером ишо двух или трех настрашал. Выехали за Грачев, опять дорога перепахана и тут же гаврик ходит с плугом. Шумлю ему: «А ну, иди сюда!» Подходит. «Ты какое имеешь право дорогу перепахивать, мать твою сто чертов?» Посмотрел он на меня, бравый такой казачок, и глаза — светлые, светлые, а потом молчаком повернулся и рысью к быкам. Подбег, выдернул из ярма же-

лезную занозу<sup>1</sup> и опять рысью ко мне. Ухватился за крыло тарангаса, на подножку лезет. «Ты, говорит, што такое есть, и до каких пор вы будете из нас кровя сосать? Хочешь, говорит, в два счета голову тебе на черепки поколю?» — и занозой намеревается. Я ему: «Што ты, Иван, я пошутил!» А он: «Я теперь не Иван, а Иван Осипович и морду тебе за грубость побью!» Верить, — насилиу отвязался. Так и этот: сопел да кланялся, а под конец характер оказал. Гордость в народе выпрямилась.

— Хамство в нем проснулось и поперло наружу, а не гордость! Хамство получило права законности, — чуть заметно акцентируя, спокойненько сказал подполковник-кавказец и, не дожидаясь возражений, закончил разговор: — Прощу начинать совещание. Я бы хотел попасть в полк сегодня же.

Кудинов постучал в стенку, крикнул: «Сафонов!» — и обратился к Григорию:

— Ты побудь с нами, посоветуемся сообща. Знаешь поговорку: «Ум хорошо, а два — еще хуже»? На наше счастье товарищ Георгидзе случаем остался в Вешках, а теперь нам пособляет. Они — чином подполковник, генеральную академию окончили.

— Как же вы остались в Вешенской? — почему-то внутренне холодея и настороживаясь, спросил Григорий.

— Тифом заболел, меня оставили на хуторе Дудоровском, когда началось отступление с северного фронта.

— В какой части были?

— Я? Нет, я не строевой. Я был при штабе особой группы.

— Какой группы? Генерала Ситникова?

— Нет...

Григорий хотел еще что-то спросить, но выражение лица подполковника Георгидзе, как-то напряженно собранное, заставило его почувствовать неуместность расспросов, и Григорий на полуслове осекся.

Вскоре подошли начштаба Сафонов, командир четвертой дивизии Кондрат Медведев и румяный белозубый подхорунжий Богатырев — командир шестой

отдельной бригады. Началось совещание. Кудинов по сводкам коротко информировал собравшихся о положении на фронтах. Первым попросил слова подполковник. Медленно развернув на столе трехверстку, он заговорил ладно и уверенно, с чуть заметным акцентом:

— Прежде всего, я считаю абсолютно необходимой переброску некоторых резервных частей третьей и четвертой дивизий на участок, занимаемый дивизией Мелехова и особой бригадой подхорунжего Богатырева. По имеющимся у меня сведениям секретного порядка и из опроса пленных с совершенной очевидностью выясняется, что красное командование именно на участке Каменка—Каргинская—Боковская готовит нам серьезный удар. Со слов перебежчиков и пленных установлено, что из Облив и Морозовской направлено штабом девятой Красной армии два кавалерийских полка, взятых из двенадцатой дивизии, пять заградительных отрядов, с приданными к ним тремя батареями и пулеметными командами. По грубому подсчету, эти пополнения дадут противнику пять с половиной тысяч бойцов. Таким образом численный перевес будет, несомненно, за ними, не говоря уже о том, что на их стороне превосходство вооружения.

Крест-накрест перечеркнутое оконным переплетом засматривало с юга в комнату желтое, как цветок подсолнуха, солнце. Голубое облако дыма недвижно висело над потолком. Горьковатый самосад растворялся в острой вони отсыревших сапог. Где-то под потолком отчаянно звенела отравленная табачным дымом муха. Григорий дремотно поглядывал в окно (он не спал две ночи подряд), набухали свинцово отяжелевшие веки, сон вторгался в тело вместе с теплом жарко натопленной комнаты, пьяная усталость расслабляла волю и сознание. А за окном взлетами бились весенние низовые ветры, на базковском бутре розово сиял и отсвечивал последний снег, вершины тополей за Доном так раскачивались на ветру, что Григорию при взгляде на них чудился басовитый неумолчный гул.

Голос подполковника — четкий и на-

<sup>1</sup> Заноза — деревянный или железный прут, соединяющий верхнюю и нижнюю части ярма.

пористый — притягивал внимание Григория. Напрягаясь, он вслушивался, и незаметно исчезла, будто растаяла сонная одурь.

— ...Ослабление активности противника на фронте первой дивизии и настойчивые попытки его перейти в наступление на линии Мигулинская—Мешковская заставляют нас насторожиться. Я полагаю... — подполковник поперхнулся словом «товарищи» и уже зло жестикулируя женски-белой прозрачной рукой, повысил голос: — ...что командующий Кудинов при поддержке Сафонова совершает крупнейшую ошибку, принимая маневрирование красных за чистую монету, идя на ослабление участка, занятого Мелеховым. Помилуйте, господа! Это же азбука стратегии — оттяжка сил противника для того, чтобы обрушиться...

— Но резервный полк Мелехову не нужен... — перебил Кудинов.

— Наоборот! Мы должны иметь под рукой даже часть резервов третьей дивизии для того, чтобы в случае прорыва нам было чем заслонить его.

— Кудинов, видно, у меня не хочет спрашивать, дам я ему резерв или нет. — Озлобясь, заговорил Григорий. — А я не дам. Сотни одной не дам!

— Ну, это, братец... — протянул Сафонов, улыбаясь и приглаживая желтый подбородок.

— Ничего не «братец»! Не дам — и все!

— В оперативном отношении...

— Ты мне про оперативные отношения не говори. Я отвечаю за свой участок и за своих людей.

Спор, так неожиданно возникший, прекратил подполковник Георгидзе: красный карандаш в его руке пунктиром отметил угрожаемый участок, и, когда головы совещающихся тесно сомкнулись над картой, всем стало понятно с непреложной ясностью, что удар, подготавливаемый красным командованием, действительно единственно возможен на южном участке, как наиболее приближенном к Донцу и выгодном в отношении сообщения.

Совещание кончилось через час. Угрюмый, бирючьего вида и повадки Кон-

драт Медведев, с трудом владевший грамотой, отмалчиваясь на совещании, под конец сказал, все так же ипоподлобно и недоверчиво оглядывая всех:

— Пособить мы Мелехову пособим. Лишние люди есть. Только одна думка покою не дает, сволочь! Што, ежели начнут нажимать нас со всех сторон, тогда куда деваться? Собьют нас в кучу, и очутимся мы на ужасном положении, вроде как ужаки, в половодье где-нибудь на островке.

— Ужаки плавать умеют, а нам и плавать некуда! — хохотнул Богатырев.

— Мы об этом думали, — раздумчиво проговорил Кудинов: — ну што же, подойдет тугач, — бросим всех неспособных носить оружие, бросим семьи и с боем пробьемся к Донцу. Сила нас не малая, тридцать тысяч.

— А примут нас кадеты? Злобу они имеют на верхнедонцев.

— Курочка в гнезде, а яичко... Нечего об этом толковать!

Григорий надел шапку, вышел в коридор. Через дверь слышал, как Георгидзе шелестя сворачиваемой картой, отвечал:

— Вешенцы, да и вообще все повстанцы, искупят свою вину перед Доном и Россией, если будут так же мужественно бороться с большевиками...

«Говорит, а про себя смеется, гадюка!» — вслушиваясь в интонации, подумал Григорий. И снова, как вначале, при встрече с этим неожиданно появившемся в Вешенской офицером, Григорий почувствовал какую-то внутреннюю тревогу и беспричинное озлобление.

У ворот штаба его догнал Кудинов. Некоторое время шли молча. На унавоженной площади ветер шершавил и рябил лужи. Вечерело. Округло-грузные, белые, как летом, лебедями медлительно проплывали с юга облака. Живительный и пахучий был влажный запах оттаявшей земли. Над плетнями зеленела оголившаяся трава, и уже в действительности доносил ветер из-за Дона волнующий рокот тополей.

— Скоро поломает Дон, — покашливая, сказал Кудинов.

— Да.

— Чорт ево знает... Пропадем, не ку-

ря. Стакан самосаду — сорок рублей керенскими.

— Ты скажи вот што,— на ходу обирачиваясь, резко спросил Григорий.— Офицер этот из черкесов, он што у тебя делает?

— Георгидзе-то? Начальником оперативного управления. Башковитый дьявол! Это он планы разрабатывает. По стратегии нас всех засекает.

— Он постоянно в Вешках?

— Не-е-ет... Мы его прикомандировали к Черновскому полку, к обозу.

— А как же он следит за делами?

— Видишь ли, он часто наезжает. Почти кажин день.

— А што же вы его не возьмете в Вешки? — пытаюсь уяснить, допрашивал Григорий.

Кудинов все покашливая, ладонью прикрывая рот, нехотя отвечал:

— Неудобно перед казаками... Знаешь, какие они братуши? «Вот, скажут, позасели офицеры, свою линию гнут. Опять погоны — и все прочее.

— Такие, как он, ишо в войске есть?

— В Казанской двое, нито трое. Ты, Грина, не нудись особо. Я вижу, к чему ты норовишь... Нам, милоч, окромя кадетов, деваться некуда. Так ведь? Али ты думаешь свою республику из десяти станиц организовать? Тут уж нечево... Соединимся,— с повинной головой придем к Краснову... «Не суди, мол, Петро Миколаич, трошки заблудились мы, бросимши фронт»...

— Заблудились? — переспросил Григорий.

— А то как же? — с искренним удивлением ответил Кудинов и старательно обошел лужицу.

— А у меня думка...— Григорий потемнел, насильственно улыбаясь,— а мне думается, што заблудились мы, когда на восстание пошли... Слышал, што хопец говорил?

Кудинов промолчал, сбоку пытливо глядявясь в Григория.

На перекрестке за площадью они расстались. Кудинов пошагал мимо школы на квартиру. Григорий вернулся к штабу, знаком подозвал ординарца с лошадьми. В седле уже, медленно разбирая поводья, поправляя винтовочный

погон, все еще пытался он отдать себе отчет в том непонятном чувстве неприязни и настороженности, которое испытывал к обнаруженному в штабе подполковнику, и вдруг, мысленно ужаснувшись, подумал: «А што, если кадеты нарошно наставляли у нас этих знающих офицеров, штоб поднять нас в тылу у красных, штоб они по-своему, по-ученому руководили нами?» — и сознание с злорадной услужливостью подсунуло догадки и доводы. «Не сказал какой части... замаялся... штабной, а штабы тут и не проходили... за каким чортом его занесло на Дудоровский, в глушину такую? Ох, неспроста! Наворошили мы делов... «И домыслами обнажая жизнь, за-травленно, с тоской, додумал: «Спутали нас ученые люди... Господа спутали! Стреножили жизнь и нашими руками вершают свои дела. В пустяковине — и то верить никому нельзя»...

За Доном во всю рысь пустил коня. Сзади поскрипывал седлом ординарец, добрый вояка и лихой казачишко с хутора Ольшанского: второго Григорий послал в Вешенскую. Таких и подбирал Григорий, чтобы шли за ним «в огонь и в воду», такими, выдержанными еще в германской войне, и окружал себя. Ординарец, в прошлом — разведчик, всю дорогу молчал, на ветру, на рыси закуривал, высекая кресалом огонь, забирая в ядреную пригоршню ком вываренного в подсолнечной золе пахучего труга. Спускаясь в хутор Токин, он посоветовал Григорию:

— Коли нету нужды поспешать, давай заночуем. Кони мореные, нехай пердохнут.

Ночевали в Чукарином. В ветхой хате, построенной связью, было после морозного ветра по-домашнему уютно и тепло. От земляного пола солоно пахивало телячьей и козьей мочей, из печи — словно пресно-пригорелыми хлебами, выпеченными на капустных листьях. Григорий нехотя отвечал на расспросы хозяйки—старой казачки, проводившей на восстание трех сыновей и старика. Говорила она басом, покровительственно подчеркивая свое превосходство в детях, и с первых же слов грубовато заявила Григорию:

— Ты хучь старшой и командер над казаками-дураками, а надо мной, старухой, не властен и в сыны мне годишься. И ты, сокол, погутьарь со мной, сделай милость. А то ты все позевываешь, кубыть не хошь разговором бабу уважить. А ты уважь! Я вон на вашу войну — лихоман ее возьми — трех сынов высточила, да ишо деда на грех проводила. Ты ими командуешь, а я их, сынов-то, родила, вспоила, вскормила, в подоле носила на бахчи и городаы, што муки с ними приняла. Это тоже не легко доставалось! И ты носом не крути, не задавайся, а гутарь со мной толком — скоро замиренье выйдет?

— Скоро... ты бы спала, мамаша!

— То-то скоро. А как оно скоро? Ты спать-то меня не укладывай, я тут хозяйка, а не ты. Мне вон ишо за козлятами-ягнятами на баз итить. Забираем их на ночь с базу, махонькие ишо они. К пасхе-то замиритесь?

— Прогоним красных и замиримся.

— Скажи на милость! — Старуха кидала на острые углы высохших колен пухлые в кистях руки с искривленными работой и ревматизмом пальцами, горестно жевала коричневыми и сухими, как вишневая кора, губами. — И на чуму они вам сдались? И чево вы с ними стражаетесь? Чисто побесились люди. Вам, окаянным, сладость из ружьев палить да на кониках красоваться, а матерям-то как? Ихних ить сынов-то убивают, ай нет? Войны какие-то попридумали...

— А мы-то не материны сыны, сучкины, што ли? — злобно и хрипато пробасил ординарец Григория, донельзя возмущенный старухиным разговором. — Нас убивают, а ты, «на кониках красоваться», и вроде матери чижалей, чем энтим, каких убивают. Дожила ты, божья купель, до седых волос, а вот лопочешь тут... несешь и с Дону, и с моря, людям спать не даешь.

— Выспишься, чумовой! Чево вылутился-то? Молчал-молчал, как бирюк, а потом осерчал с чевой-то. Ишь! Ажник осип от злости:

— Не даст она нам спать, Григорь Пантелевич! — с отчаянием крикнул ординарец и, закуривая, так шваркнул по

кремню, что целая туча искр брызнула из-под кресала.

Пока, разгораясь, вонюче тлел, дымился трут, ординарец язвительно доканчивал словоохотливую хозяйку.

— Въедливая ты, бабка, как васса! Небось, ежли старика убьют на позициях, помирая радоваться будет: «Ну, скажет, слава богу, ослобонился от старухи, земля ей пухом лебяжьим!»

— Чирий тебе на язык, нечистый дух!

— Спи, бабушка, заради христа. Мы три ночи безо сна. Спи! За такие дела умереть можешь без причастья.

Григорий насилу помирил их. Засыпая, он приятно ощущал ксловатое тепло овчинной шубы, укрывавшей его, сквозь сон слышал, как хлопнула дверь и холодок и пар окутали его ноги. Потом резко, над ухом проблеял ягненок. Дробно зацокотали по полу крохотные копытца козлят, и свежо и радостно запахло сеном, парным овечьим молоком, морозом, запахом скотиньего база...

Сон покинул его в полночь. Долго лежал Григорий с открытыми глазами. В закутанной подземке под опаловой золотой рдяно светились угли. У самого жара возле творила лежали, скучившись, ягнята. В полуночной сладкой тишине слышно было, как сонно поскрипывали они зубами, изредка чихали и фыркали. В окно глядел далекий-далекий полный месяц. На земляном полу и желтом квадрате света подскакивал и взбрыкивал неугомонный вороной козленок. Коса тянулась жемчужная — в лунном свете — пядь. В хате изжелта-синий, почти дневной свет. Искрится на комельке осколок зеркала, лишь в переднем углу темно и тускло отсвечивает посеребренный оклад иконы. Снова вернулся Григорий к мыслям о совещании в Вешенской, о гонце с Хопра и снова, вспомнив подполковника, его чуждую, интеллигентскую внешность и манеру говорить, ощутил неприятное, тягучее волнение. Козленок, взобравшись на шубу, на живот Григорию долго и глупо всматривался, сучил ушами, потом, осмелев, подпрыгнул раз и два и вдруг раздвинул курчавые ноги. Тоненькая струйка журча скатилась с овчины на вытянутую ладонь спавшего рядом с Григорием ор-



динарца. Тот замычал, проснулся, вытер руку о штанину и горестно покачал головой:

— Намочил, проклятый... Кызь! — и с наслаждением дал щелчка в лоб козленку. Пронзительно мекекекнув, козленок скакнул с шубы, потом подошел и долго лизал руку Григория крохотным шершавым и теплым язычком.

### XXXVIII

После бегства из Татарского Штокман, Кошевой, Иван Алексеевич и еще несколько казаков, служивших милиционерами, пристали к четвертому Заамурскому полку. Полк этот в начале 18-го года в походе с немецкого фронта целиком влился в один из отрядов Красной гвардии и за полтора года боев на фронтах гражданской войны еще сохранил основные кадры. Заамурцы были прекрасно экипированы, лошади их — сыты и вышколены. Полк отличался боеспособностью, моральной устойчивостью и щеголеватой кавалерийской подготовкой бойцов.

Вначале восстания заамурцы, при поддержке первого Московского пехотного полка, почти одни сдерживали напор повстанцев, стремившихся прорваться к Усть-Медведице; потом подошли подкрепления, и полк, не разбрасываясь, окончательно занял участок Усть-Хоперской, по Кривой речке.

В конце марта повстанцы вытеснили красные части из юрта Еланской станции, захватив часть хуторов Усть-Хоперской. Установилось некоторое равновесие сил, почти на два месяца определившее недвижность фронта. Прикрывая Усть-Хоперскую с запада, батальон Московского полка, подкрепленный батареей, занял хутор Крутовской, лежащий над Доном. С гористой отхожины обдонского отрога, что лежит от Крутовского на юг, красная батарея, маскируясь на полевом гумне, ежедневно с утра до вечера обстреливала скоплавшихся на бургах правобережья повстанцев, поддерживая цепи Московского полка, потом переносила и сеяла огонь по хутору Еланскому, расположенному по ту сторону Дона. Над тесно скученными дворами высо-

ко и низко вспыхивали и стремительно таяли крохотные облачка шрапнельных разрывов. Гранаты то ложились по хутору и по проулкам, в диком ужасе, ломая плетни, мчался скот, и перебегали, согнувшись, люди, то рвались на бугре, за старообрядческим кладбищем, возле ветряков, на безлюдных песчаных буграх вздымая бурую, неоттаявшую комкастую землю.

15 марта Штокман, Мишка Кошевой и Иван Алексеевич выехали с хутора Чеботарева в Усть-Хоперскую, прослышав о том, что там организуется дружина из коммунистов и советских работников, бежавших из повстанческих станиц. Вез их казак-старообрядец с таким детски-розовым и чистым лицом, что даже Штокман беспричинно ежил улыбкой губы, глядя на него. У казака, несмотря на его молодость, кучерявилась густейшая светло-русая борода, арбузным ломтем розовел в ней свежий румяный рот, возле глаз золотился пушок, и то ли от пушистой бороды, то ли от полнокровных румян глаза как-то особенно прозрачно синели.

Мишка всю дорогу мурлыкал песни, Иван Алексеевич сидел в задке, уложив на колени винтовку, хмуρο ежась, а Штокман начал разговор с подводчиком с пустяков:

— Не жалуешься на здоровье, товарищ? — спрашивал он. И пышущий силой и молодостью старовер, распахивая овчинный полушубок, тепло улыбался.

— Нет, бог грехам терпит покедова. А с чево она будет — нездоровье? Спокон веков не курим, водку пьем натурально, хлеб с махоньких едим пшенишный. Откедь ж ей хворости взяться?

— Ну, а на службе был?

— Трошки был. Кадеты прихватили.

— Что же за Донец не пошел?

— Чудно ты гутаришь, товарищ! — бросил из конского волоса сплетенные вожжи, снял голицы и вытер рот, обижено щурясь. — Чево б я туда пошел? За новыми песнями? Я бы и укадетов не служил, кабы они не силовали. Ваша власть справедливая, только вы трошки неправильно исделали...

— Чем же?

Штокман свернул папироску, закурил и долго ждал ответа.

— И зачем жгешь зелью эту? — говорил казак, отворачивая лицо. — Гля, какой кругом вешний дух чистый, а ты поганишь грудя вонючим дымом... Не уважаю!

Подводчик соскочил с кошевок, долго хлюпал сбочь дороги по талому снегу. Ноги его разъезжались, гребли синеватый от влаги, податливый снег. Над степью ласково светило солнце. Иссветла-голубое небо могуче обнимало далеко видные окрест бурги и перевалы. В чуть ощутимом шевеленьи ветра мнилось пахучее дыхание близкой весны. На востоке, за блесым зигзагом обдонских гор, в лиловоюющем мареве уступом виднелась вершина Усть-Медведицкой горы. Смыкась с горизонтом, там вдалеке огромным волнистым покровом распростерлись над землей белые барашковые облака.

Подводчик вскочил в сани, повернул к Штокману поглубевшее лицо, заговорил опять:

— Мой дед, он и досе живой, зараз ему сто восьмой год идет, рассказывал, а ему тоже дед ведал, што при ево памяти, то есть пращуря мово, был в наши верхи Дона царем Петром посланный князь, — вот кинь господь памяти! — нито Длинноруков, нито Долгоруков. И этот князь спускался с Воронежу с солдатами и разорял казачьи городки за то, што не хотели Никонскую поганую веру примать и под царя иттить. Казаков ловили, носы им резали, а каких вешали и на плотях спускали по Дону.

— Ты это к чему загинаешь? — строго настораживаясь, спросил Мишка.

— А к тому, што, небось, царь ему, хучь он и Длиннорукий, а таких прав не давал, а комиссар в Буконовской вершил ишь какие дела! Так к примеру наворачивает: «Я, дескать, вас рассказачу сукиных сынов так, што вы век будете помнить!... «Так на майдане в Букановской и шумел при всем станишном сборе. А дадены ему такие права от советской власти? То-то и оно! Мандаты, небось, нету на такие подобные дела, штоб всех под одну гребенку стричь. Казаки — они тоже разные...

У Штокмана кожа на скулах собралась комками.

— Я тебя слушал, теперь ты меня послушай.

— Может, конечно, я сдуру не так чево сказал, вы уж меня извиняйте.

— Постой, постой... так вот: то, что ты рассказывал о каком-то комиссаре, действительно не похоже на правду. Я это проверю. И если это так, если он издевался над казаками и самодурствовал, — то мы ему не простим.

— Ох, навряд!

— Не навряд, а так точно! Когда шел фронт в вашем хуторе, разве не расстреляли красноармейцы красноармейца же своей части за то, что он ограбил какую-то казачку? Об этом мне говорили у вас в хуторе.

— Во-во! У Перфильевны пошкодил он в сундуке. Это было! Это истинно. Оно конечно... Строгость была. А это ты верно, за гумнами ево и убили. После долго у нас спорили, где его хоронить. Одни, мол, на кладбище, а другие востали, што это осквернит место, так и зарыли его, горюна, возля гумна.

— Был такой случай!

Штокман торопливо вертел папироску.

— Был, был, не отрекусь, — оживленно соглашался казак.

— А почему же ты думаешь, что комиссара не накажем, если установим его вину?

— Милый товарищ! Может, у вас на него и старшова не найдется. Ить это солдат, а этот комиссар...

— Тем суровой с него будет спрос! Понял? Советская власть расправляется только с врагами, и тех представителей советской власти, которые несправедливо обижают трудовое население, мы беспощадно караем.

Тишину мартовского степного полдня, нарушаемую только свистом ползьев да чавкающим перебором конских копыт, обвальным раскатом задавил гул орудия. За первым выстрелом последовало с ровными промежутками еще три. Батарея с Крутовского возобновила обстрел левобережья.

Разговор на подводе прервался. Орудийный гул могучей чужеродной гам-

мой вторгся и нарушил бледное очарование дремлющей в предрассветном томлении степи. Лошади — и те пошли шаговитей, подбористой, невесомо неся и переставляя ноги, деловито перепрыгивая ушами.

Выехали на Гетманский шлях, и в глаза сидевшим на санях кинулось просторное Задонье, огромное и пятнисто-пегое, с плешинами стаявшего снега на желтых песках, с мысами и сизыми островами верб и ольховых лесов.

В Усть-Хоперской подводчик подкатил к зданию ревкома, по соседству с которым помещался и штаб Московского полка.

Штокман, порывшись в кармане, достал из кисета сорокарублевую керенку, подал ее казаку. Тот расцвел в улыбке, обнажая под влажными усами желтоватые зубы, смущенно помялся:

— Што вы, товарищ, спаси христос! Не стоит денег...

— Бери, — твоих лошадей труд. А за власть ты не сомневайся. Помни — мы боремся за власть рабочих и крестьян. И на восстание вас толкнули наши враги: кулаки, атаманы, офицеры. Они — основная причина восстания. А если кто-либо из наших несправедливо обидел трудового казака, сочувствующего нам, помогающего революции, то на обидчика можно было найти управу.

— Знаешь, товарищ, побаску: до бога высоко, а до царя далеко... И до вшава царя все одно далеко... С сильным не борись, а с богатым не судись, а вы и сильные и богатые, — лукаво оскалился: — Ишь вон ты сорок целковых отвалил, а ей, поездке, красная цена пятарик. Ну, спаси христос!

— Это он тебе за разговор накинул, — улыбался Мишка Кошевой, сигнув с коней и подсмывая шаровары. — Да за приятную бороду. Ты знаешь, ково вез, пенек восьмиугольный? Краснова генерала.

— Ху?

— Вот тебе и «ху». Вы тоже народец, мать вашу... Мало дай — псам-собакам на хвосты навяжешь, «вот вез товарищев, дали один пятерик, такне-сакне», обижаться будешь всю зиму. А много дал, — тоже у тебя горит: «Ишь,

богачи какие! Сорок целковых отвалил, деньги у него нечитанные». Я б тебе ни шиша не дал! Обижайся, как хошь. Все равно ить не угодишь. Ну, пойдете. Прощай, борода!

Даже хмурый Иван Алексеевич улыбнулся под конец Мишкиной горячей речи.

Из двора штаба на сибирской лохматой лошаденке выскочил красноармеец конной разведки:

— Откуда подвода? — крикнул он, на коротком поводе поворачивая лошадь.

— Тебе что? — спросил Штокман.

— Патроны везти на Крутовский. Заезжай!

— Нет, товарищ, эту подводу мы отпустим.

— А вы кто такой? — красноармеец — молодой красивый парнишка — подъехал в упор.

— Мы из Заамурского. Подводу не держи.

— А, ну хорошо, пусть едет. Езжай, старик.

### XXXIX

На поверку оказалось, что никакой дружины в Усть-Хоперской не организуется. Была организована одна, но не в Усть-Хоперской, а в Букановской. Дружину организовал тот самый комиссар, посланный штабом девятой Красной армии в низовые станицы Хопра, о котором дорогой рассказывал казак-старовер. Еланские, Букановские Слащевские и Кумылжанские коммунисты и советские работники, пополненные красноармейцами, составляли довольно внушительную боевую единицу, насчитывавшую двести штыков при нескольких десятках сабель приданной им конной разведки. Дружина временно находилась в Букановской, вместе с ротой Московского полка сдерживая повстанцев, пытавшихся наступать с верховьев речки Еланки и Зимовной.

Поговорив с начальником штаба, бывшим кадровым офицером, хмурым и издерганным человеком, и с политкомом — московским рабочим с завода Михельсона, Штокман решил остаться в Усть-Хоперской, влившись во второй

батальон полка. В чистенькой комнатке, заваленной мотками обмоток, катушками телефонной проволоки и прочим военным имуществом, Штокман долго говорил с политкомом.

— Видишь ли, товарищ,—неспеша говорил приземистый, желтолицый комиссар, страдавший от припадков острого аппендицита,—тут сложная механика. У меня ребята все больше москвичи да рязанцы, немного нижегородцев; крепкие ребята, рабочие в большинстве, а вот был здесь эскадрон мионовцев из его четырнадцатой дивизии, так те волюнили. Пришлось их отправить обратно в Усть-Медведицу. Ты оставайся, работы много. Надо с населением работать, разъяснять. Тебе же понятно, что это—не фронт... Тут надо ухо остро держать.

— Все это я понимаю не хуже тебя, — улыбаясь покровительственному тону комиссара и глядя на пожелтевшие белки его страдающих глаз, говорил Штокман. — А вот ты скажи мне, что это за комиссар в Букановской?

Комиссар гладил серую щеточку подстриженных усов, вяло отвечал, изредка поднимая синеватые прозрачные веки.

— Он там одно время пересаливал.

Парень-то он хороший, но не особенно разбирается в политической обстановке, да ведь лес рубят, щепки летят...

— Зайди к завхозу, он вас на кошт зачислит,—говорил комиссар, мучительно морщась, придерживая ладонью засаленные ватные штаны.

Наутро второй батальон по тревоге сбежался «в ружье», шла переключка. Через час батальон походной колонной двинулся на хутор Крутовский.

В одной из четверок рядом шагали Штокман, Кошевой и Иван Алексеевич.

С Крутовского на ту сторону Дона выслали конную разведку. Следом перешла Дон колонна. По отмякшей дороге, с коричневыми навозными подтеками, стояли лужи. Лед на Дону сквозил неяркой пузырчатой синевой. Небольшие окраинцы переходили по плетням. Сзади и с горы батарея посылала очереди по купам тополевым ле-

вад, видневшихся за хутором Еланским. Батальон должен был, минуя брошенный казаками хутор Еланский, двигаться в направлении станции Еланской и, связавшись с наступавшей из Букановской ротой первого батальона, овладеть хутором Антоновым. По диспозиции командир батальона обязан был вести свою часть в направлении на хутор Безбородов. Конная разведка вскоре донесла, что на Безбородовом противника не обнаружено, а правее его, верстах в четырех, идет частая ружейная перестрелка.

Через головы колонны красноармейцев, где-то высоко со скрежетом и гулом неслись снаряды. Недалекие разрывы гранат потрясли землю. Сзади на Дону с треском лопнул лед. Иван Алексеевич оглянулся.

— Вода, должно, прибывает.

— Пустяковое дело в это время переходить Дон. Ево, тово гляди, ломает,—обиженно буркнул Мишка, все никак не приспособившийся шагать по-ехотному—четко и в ногу.

Штокман глядел на спины идущих впереди, туго перетянутые ремнями, на ритмическое покачивание винтовочных дул с привинченными дымчатосизыми отпотевшими штыками. Оглядываясь, он видел серьезные и равнодушные лица красноармейцев, такие разные и нескончаемо похожие друг на друга, видел качкое движение серых шапок с пятиконечными красными звездами, серых шинелей, желтоватых от старости и шершаво-светлых, которые поновой; слышал хлюпкий и тяжелый походный шаг большой массы; людей, глухой говор, разноголосый кашель, звяк манерок; обонял духовитый запах отсырелых сапог, махорки, ременной амуниции. Полузакрыв глаза, он старался не терять ноги и, испытывая прилив большой внутренней теплоты ко всем этим, вчера еще незнакомым и чужим ему ребятам, думал: «Ну хорошо, почему же они вот сейчас стали мне так особенно милы и жалки? Что связующее? Ну общая идея, нет тут, пожалуй, не только идея, а и дело, а еще что? Быть может, близость опасности и смерти? И как-то по-осо-

бенному родные...» И усмехнулся глазами. «Неужто старею?»

Штокман с удовольствием, похожим на отцовское чувство, посмотрел на могучую крутую крупную спину идущего впереди него красноармейца, на видневшийся между воротником и шапкой красный и чистый отрезок юношески-круглой шеи, перевел глаза на своего соседа: смуглое бритое лицо с плитами кровяно-красного румянца, тонкий мужественный рот, сам—высокий, но складный, как голубь, идет, почти не махая свободной рукой и все как-то болезненно морщится, а в углах глаз паутина старческих морщин. И потянуло Штокмана на разговор.

— Давно в армии, товарищ?

Светлокоричневые глаза соседа холодно и пылливо, чуть вкось скользнули по Штокману.

— С восемнадцатого,—сквозь зубы.

Сдержанный ответ Штокмана не расхолодил.

— Откуда уроженец?

— Земляка ищешь, папаша?

— Земляку буду рад.

— Москвич я.

— Рабочий?

— Угу.

Штокман мельком взглянул на руку соседа. Еще не смыты временем следы работы с железом.

— Metallist?

И опять коричневые глаза пришлось по лицу Штокмана, по его чуть седоватой нечистой бороде.

— Токарь по металлу. А ты тоже?— и будто потеплело в углах строгих коричневых глаз.

— Я слесарем был. Ты что это, товарищ, все морщишься?

— Сапоги тут, ссохлись. Ночью в секрете был, промочил ноги.

— Не побаиваешься? — догадливо улыбнулся Штокман.

— Чего?

— Ну как же, идем в бой...

— Я—коммунист.

— А коммунисты што же не боятся смерти? Не такие же люди?—встрял в разговор Мишка.

Сосед Штокмана ловко подкинул винтовку, не глядя на Мишку, подумав, ответил:

— Ты еще, братишка, мелко плаваешь в этих делах. Мне нельзя трусить. Сам себе приказал, понял и ты ко мне без чистых рукавичек в душу не лазай... Я знаю, за что и с кем я воюю, знаю, что мы победим. А это главное, остальное все чепуха,—и, улыбнувшись какому-то своему воспоминанию, сбorkу поглядывая на профиль Штокмана, рассказал:—В прошлом году был я в отряде Красавцева на Украине, бои были. Нас теснили все время. Потери. Стали бросать раненых. И вот неподалеку от Жмеринки нас окружают. Надо было ночью пройти через линию белых и взорвать в тылу у них на речушке мост, чтобы не допустить бронепоезд, а нам пробиваться надо через линию железной дороги. Вызывают охотников. Таковых нет. Коммунисты—было нас немного—говорят: «Давайте жеребок бросим, кому из нас»; я подумал и вызвался. Взял шашки, шнур, спички, попрощался с товарищами, пошел. Ночь темная, с туманом, отошел сажень сто, полolz; полз несскошенной рожью, потом оврагом. Из оврага стал выползать, помню, как шархнет у меня из-под носа какая-то птица. Да-а-а... В десяти саженях полез мимо сторожевого охранения, пробрался к мосту. Пулеметная застава его охраняла. Часа два лежал, выжидал момент, заложил шашки, стал в полах спички жечь, а они отсырели, не горят. Я ведь на брюхе полз, мокрый от росы был, хоть выжми головки отсырели, и вот, папаша, тогда мне стало страшно. Скоро рассвет, а у меня руки дрожат, пот глаза заливает. «Пропало все, думаю, не взорву,—застрелюсь!»—думаю. Мучился, мучился, но все-таки кое-как зажег—и ходу. Когда полыхнуло сзади,—я лежал за насыпью под щитами,—у них крик получился. Тревога. Трахнули из двух пулеметов. Много конных проскакало мимо меня, да разве ночью найдешь. Выбрался я из-под щитов и в хлеба. И только тут, знаешь, отнялись у меня ноги и руки, не могу двинуться да и баста! Лег. Туда шел ничего, храбро, а оттуда вот так... и знаешь... начало меня рвать, всего вымотало в доску! Чувствую—и ничего уже нет, а все тянет. Да-а-а... Ну,

конечно, до своих все же добрался.— И оживился, странно потеплели и похорошели горячечно заблестевшие коричневые глаза.— Ребятам утром, после боя, рассказываю, какой у меня со спичками номер вышел, а дружок мой говорит: «А зажигалку, Сергей, разве ты потерял?» Я — цап за грудной карман,—там! Вынул, чиркнул, и, представь, ведь загорелась сразу.

От дальнего острова тополей, гонимые ветром, высоко и стремительно неслись пара воронов. Ветер бросал их толчками. Они уже были в сотне сажен от колонны, когда на Крутовской горе, после часового перерыва, снова гухнуло оружие, пристрельный снаряд с тугим нарастающим скрежетом стал приближаться, и, когда вой его, казалось, достиг предельного напряжения, один из воронов, летевший выше, вдруг бешено завертелся, как стружка, схваченная вихрем, и косо простирая крылья, спирально кружась, еще пытаюсь удержаться, стал падать огромным черным листом.

— Налетел на смерть! — в восторге сказал шагавший сзади Штокмана красноармеец.— Как оно его кружнуло, лихо!

От головы колонны на высокой караковой кобылице скакал, разбрызгивая теплый снег, ротный.

— В це-е-пь!

Обдав молчаливо шагавшего Ивана Алексеевича ошметьями снега, галопом промчались трое саней с пулеметами. Один из пулеметчиков на раскате сорвался с задних саней, и ядреный и смачный хохот красноармейцев звучал до тех пор, пока ездовой, матерясь, завернул лихо лошадей и упавший пулеметчик на ходу вскочил в сани.

Станица Каргинская стала опорным пунктом для первой повстанческой дивизии. Григорий Мелехов, прекрасно учитывая стратегическую выгодность позиций под Каргинской, решил ни в коем случае не сдавать. Горы, тянувшиеся левобережьем реки Чира, были теми командными высотами, которые давали казакам прекрасную возможность обороняться. Внизу, по ту сторону Чира лежала Каргинская, за ней

на много верст мягким сувалком уходила на юг степь, кое-где перерезанная поперек балками и логами. На горе Григорий сам выбрал место установки трехорудийной батареи. Неподдалеку был отличный наблюдательный пункт—господствовавший над местностью насыпной курган, прикрытый дубовым лесом и холмистыми складками.

Бои шли под Каргинской каждый день. Красные обычно наступали с двух сторон: степью с юга, со стороны хохлачьей слободы Астахово и с востока из станции Боковской, продвигаясь вверх по Чиру, по сплошным хуторам. Казачьи цепи лежали в ста саженях за Каргинской, редко постреливая. Ожесточенный огонь красных почти всегда заставлял их отступать в станицу, а затем по крутым теклинам узких яров на гору. У красных не было достаточных сил для того, чтобы теснить их дальше. На успешности их наступательных операций резко отрицательно сказывалось отсутствие достаточного количества конницы, которая могла бы обходным движением с флангов принудить казаков к дальнейшему отступлению и, отвлекая силы противника развязать руки пехоте, нерешительно топтавшейся на подступах к станице. Пехота же не могла быть использована для подобного маневра ввиду ее слабостью подвижности, неспособности к быстрому маневрированию и потому, что у казаков была преимущественно конница, могшая в любой момент напасть на пехоту на марше и тем отвлечь ее от основной задачи.

Преимущества повстанцев заключались еще и в том, что, прекрасно зная местность, они не теряли случая незаметно перебрасывать конные сотни по балкам во фланги и тыл противника, постоянно грозить ему и парализовать его дальнейшее продвижение.

Накануне 20 марта у Григория созрел план разгрома красных: ложным отступлением он хотел заманить их в Каргинскую, а тем временем бросить Рябчикова с полком конницы по Гусынковой балке—с запада и по Грачам с востока во фланг им, с тем, чтобы окружить и нанести сокрушительный удар. План был тщательно разработан.

На совещании вечером все командиры самостоятельных частей получили точные инструкции и приказы. Обходное движение, по мысли Григория, должно было начаться с рассветом, для того, чтобы лучше замаскировать его. Все было просто, как в игре в шашки. А Григорий, тщательно проверив и прикинув в уме все возможные случайности, все, что непредвиденно могло помешать осуществлению его плана, выпил два стакана самогонки и, не раздеваясь, повалился на койку; покрыв голову влажной полой шинели, уснул он мертвецки.

На следующий день, около четырех часов утра, красные цепи уже занимали Каргинскую. Часть казачьей пехоты для отвода глаз бежала через станицу на гору, по ним, лихо повернув лошадей, строчили два пулемета с тачанок, остановившихся на въезде в Каргинскую. По улицам медленно растекались красные цепи.

Григорий был за курганом около батареи. Он видел, как красная пехота занимает Каргинскую и накапливается около Чира. Было условлено, что после первого орудийного выстрела две сотни казаков, лежавшие под горой в садах, перейдут в наступление, а в это время полк, пошедший в обход, начнет охват. Командир батареи хотел было прямой наводкой ударить по пулеметной тачанке, быстро катившейся по Климовскому бугру к Каргинской, когда наблюдатель передал, что на мосту в хуторе Н.-Латышевском, верстах в трех с половиной показалось орудие: красные одновременно наступали и со стороны Боковской.

— Полюхните по ним из мортир,— посоветовал Григорий, не отнимая от глаз цейсовского бинокля.

Наводчик, перекинувшись несколькими фразами с вахмистром, исполнявшим обязанность командира батареи, быстро установил прицел. Номера изготовились, и четырех с половиной дюймовая мортировка, как определили ее казаки, осадисто рывкнула, пахая вскопанную у хвоста землю. Первый же снаряд угодил в конец моста. Второе орудие красной батареи в этот момент въезжало на мост. Снаряд разметал

упряжку лошадей, из шестерых — как выяснилось впоследствии — уцелела только одна, зато ездовому, сидевшему на ней, начисто срезало осколком голову. Григорий видел: перед орудием вспыхнул желто-серый клуб дыма, тяжело бухнуло, и, окутанные дымом, взвиваясь на дыбы, как срезанные повалились лошади, падая бежали люди. Конного красноармейца, бывшего в момент падения гранаты около передка, вместе с лошадыю и перилами моста вынесло и ударило в лед.

Такого удачного попадания не ожидали даже батарейцы. На минуту под курганом возле орудия установилась тишина, лишь находящийся неподалеку наблюдатель, вскочив на колени, что-то кричал и размахивал руками.

И сейчас же снизу из густых зарослей вишневых садов и левад донеслось недружное «ура», трескающая зыть винтовочных выстрелов. Позабыв об осторожности, Григорий вбежал на курган: по улицам бежали красноармейцы, оттуда доносился нстройный гул голосов, резкие командные вскрики, шквальные вспышки стрельбы. Одна из пулеметных тачанок поскакала было в бугор, но сейчас же, неподалеку от кладбища, круто повернула, и через головы бежавших и припадавших на бегу красноармейцев пулемет застрочил по казакам, высыпавшим из садов.

Тщетно Григорий старался увидеть на горизонте казачью лаву. Конница, под командой Рябчикова ушедшая в обход, все еще не показывалась. Красноармейцы, бывшие на левом фланге, уже подбегали к мосту, через забурунный лог, с западной стороны, соединявшей Каргинскую со смежным хутором Архиповским, в то время как правофланговые еще бежали вдоль по станице и падали под выстрелами казаков, завладевших двумя ближними к Чиру улицами.

Наконец-то из-за бугра показалась первая сотня Рябчикова, за ней вторая, третья, четвертая, рассыпаясь в лаву, сотни круто повернули влево на перерез бежавшим по косогору к Климовке толпам красноармейцев. Григорий, комкая в руках перчатки, взволнован-

но следил за исходом боя. Он бросил бинокль и смотрел уже не вооруженным глазом на то, как стремительно приближается лава к Климовской дороге, как в замешательстве поворачивают обратно и бегут к архиповским дворам кучки и одиночки красноармейцев и, встречаемые оттуда огнем казачьей пехоты, развивавшей преследование вверх по течению Чира, снова устремляются на дорогу. Только незначительной части красноармейцев удалось прорваться в Климовку. На бугре, страшная тишина, началась рубка. Сотни Рябчикова повернулись фронтом к Каргинской и, будто ветер листья, погнали обратно красноармейцев. Возле моста через забурунный группа штыков в тридцать, видя, что они отрезаны и выхода нет, начали отстреливаться. У них был станковый пулемет, немалый запас лент. Едва лишь из садов показалась пехота повстанцев, как с лихорадочной быстротой начинал работать пулемет и казаки падали; переползали под прикрытие сараев и камней огорожи базов. С бугра видно было, как по Каргинской казаки бегом тащили свой пулемет. Возле одного из крайних к Архиповке дворов они замешкались, потом вбежали во двор. Вскоре с крыши амбара в этом дворе резво затакало. Вглядевшись, Григорий увидел в бинокль и пулеметчиков: разбросав ноги, в шароварах, вобратых в белые чулки, согнувшись под щитком, один лежал на крыше, второй карабкался по лестнице, обмотавшись пулеметной лентой. Батарейцы решили притти на помощь пехоте. Место сосредоточения сопротивлявшейся группы красных покрыла очередь шрапнели. Последний бризантный снаряд разорвался далеко на отшибе.

Через четверть часа возле забурунного пулемет красных внезапно умолк, и сейчас же вспыхнуло короткое «ура». Между голых стволов верб замелькали фигуры конных казаков.

Все было кончено.

По приказу Григория сто сорок семь порубленных красноармейцев жители Каргинской и Архиповки крючьями и баграми стащили в одну яму, мелко

зарыли возле забурунного. Рябчиков захватил шесть патронных двучолок с лошадьми и патронами и одну пулеметную тачанку с пулеметом без замка. В Климововке отбил сорок две подводы с военным имуществом. У казаков убитых было четыре человека и раненых пятнадцать.

После боя на неделю в Каргинской установилось затишье. Противник перестроился на вторую дивизию повстанцев и вскоре, тесня ее, захватил ряд хуторов Мигулинской станицы: Алексеевский, Чернецкую Слободку и подошел к хутору Верхне-Чирскому.

Оттуда ежедневно утренними зорями слышался орудийный гул, но сообщения о ходе боев приходили с большим опозданием и не давали ясного представления о положении на фронте второй дивизии.

В эти дни Григорий, уходя от черных мыслей, пытаясь заглушить сознание, не думать о том, что творилось вокруг и чему он был видным участником,—начал пить. Если повстанцы испытывали острую нужду в муке, при огромных запасах пшеницы (мельницы не успевали работать на армию, и зачастую казаки питались вареной пшеницей), то в самогоне не было недостатка. Рекой лился самогон. На той стороне Дона сотня дудоревских казаков пьяным-пьяно пошла в конном строю в атаку, в лоб на пулеметы, и была уничтожена наполовину. Случай выхода на позиции в пьяном виде стали обычным явлением. Григорию услужливо доставляли самогон. Особенно в добыче отличался Прохор Зыков. После боя в Каргинской он, по просьбе Григория, привез три ведерных кувшина самогона, созвал песенников, и Григорий, испытывая радостную освобожденность, отрыв от действительности и раздумий, пропил с казаками до утра. Наутро похмелился, переложил, и к вечеру снова понадобились песенники, веселый гул голосов, людская тамаша, пляска — все, что создавало иллюзию подлинного веселья и заслоняло собой трезвую лютую действительность.

А потом потребность в пьянке стремительно вошла в привычку. Садясь с



утра за стол, Григорий уже испытывал непреодолимое желание глотнуть водки. Пил он много, но не перебивал через край, на ногах всегда был тверд; даже под утро, когда остальные, выbleвавшись, спали за столами и на полу, укрываясь шинелями и попонами, он сохранял видимость трезвого, только сильнее бледнел и суровел глазами, да часто сжимал голову руками, свесив вороной курчаватый чуб.

За четыре дня беспрерывных гульбищ он заметно обрзуг, ссутулился; под глазами засинели мешковатые складки, во взгляде все чаще стал просвечивать огонек бессмысленной жестокости. На пятый день Прохор Зыков предложил, многообещающе улыбаясь:

— Поедем к одной хорошей бабе, на Лиховидов? Ну, лады. Только ты, Григорий Пантелевич, не зевай! Баба сладкая, как арбуз, хучь я ее и не пробовал, а знаю; только неука, дьявол! Дикая. У такой не сразу выпросишь, она и погладить не дается. А дымку варить лучше не найдешь. Первая дымоварка по всему Чиру. Муж у нее в отступе, за Донцом,—будто между прочим закончил он.

На Лиховидов поехали с вечера. Григорию сопутствовали Рябчиков, Харлабий Ермаков, безрукий Алешка Шамиль и приехавший со своего участка комдив третьей Кондрат Медведев. Прохор Зыков ехал впереди. В хуторе он свел коня на шаг, свернул в проулок, отворил воротца на гумно. Григорий следом за ним тронул коня, тот прыгнул через огромный подтаявший сугроб, лежавший у ворот, провалился передними ногами в снег и, всхрапнув, выправился, перелез сугроб, заваживший ворота и плетень по самую макушку. Рябчиков, спешившись, провел коня под уздцы. Минут пять Григорий ехал с Прохором мимо прикладков соломы и сена, потом по голому стеклянному-зеленому вишневному саду. В небе налитая синим косо стояла золотая чаша молодого месяца, дрожали звезды, зачарованная ткалась тишина, и далекий собачий лай да хрусткий чок конских копыт, не нарушая, только подчеркивали ее. Сквозь частый вишенник и разлапистые ветви яблонь желто за-

светился огонек, на фоне звездного неба четкий возник силуэт большого, крытого камышом курения. Прохор, перегнувшись с седла, услужливо открыл скрипнувшую калитку. Около крыльца в непримерзшей луже колыхался отраженный месяц. Конь Григория копытотом разбил на краю лужи лед и стал, разом переведа дух. Григорий прыгнул с седла, замотал поводка за перильца, вошел в темные сени. Сзади загомонили, спешиваясь и вполголоса поигрывая песенки, Рябчиков с казаками.

Ощупью Григорий нашел дверную скобку, шагнул в просторную кухню. Молодая, низенькая, но складная, как куропатка, казачка со смуглым лицом и черными лепными бровями, стоя спиной к печи, вязала чулок. На печке спала, раскинув руки, белоголовая девочка лет девяти.

Григорий, не раздеваясь, присел к столу.

— Водка есть?

— А поздороваться не надо?—спросила хозяйка, не глядя на Григория и все так же быстро мелькая углами вязальных спиц.

— Здорово, если хочешь, водка есть?

Она подняла ресницы, улыбнулась Григорию круглыми карими глазами, вслушиваясь в гомон и стук шагов в сенцах.—Водка-то есть, а много вас, поночевщиков, приехало?

— Много. Вся дивизия...

Рябчиков от порога пошел в присядку, волоча шашку, хлопая по голенищам папай. В дверях столпились казаки, из них кто-то чудесно выбивал на деревянных ложках яркую плясовую дробь.

На кровать свалили ворох шинелей, оружие сложили на лавках. Прохор расторопно помогал хозяйке собирать на стол. Безрукий Алешка Шамиль пошел в погреб за соленой капустой, сорвался с лестницы, вылез, принес в полах чекменя черепки разбитой тарелки и ворох мокрой капусты.

К полуночи выпили два ведра самогонки, поели несчетно капусты и решили резать барана. Прохор ощупью поймал в катухе ярку-черетоку, а Харлабий Ермаков—тоже рубака не из по-

следних—шашкой отсек ей голову и тут же по сараям освежевал. Хозяйка затопила печь, поставила варить верный чугун баранины. Снова резанули плясовую в ложки, и Рябчиков пошел, выворачивая ноги, жестоко ударя в голенища ладонями, подпевая резким, но приятным тенором:

Вот таперя нам попить, погулять,  
Когда нечево на баз загонять!

— Гулять хочу!—рычал Ермаков, и все норовил попробовать шашкой крепость оконных рам. Григорий, любивший Ермакова за исключительную храбрость и казачью лихость, удерживал его, постукивая по столу медной кружкой.

— Харлампий, не дури!

Харлампий послушно бросал шашку в ножны, жадно припадал к стакану с самогоном.

— Вот при таком кураже и помереть не страшно!—говорил Алешка Шамиль, подсаживаясь к Григорию.— Григорий Пантелеевич!—Ты—наша гордость! Тобой только и на свете держимся, давай шшелканем ишо по одной? Прохор, дымки!

Нерасседланные кони стояли в вольнугу у прикладка сена. Их по очереди выходили проводить.

Только перед зарей Григорий почувствовал что опьянел. Он словно издали слышал чужую речь, тяжело ворочал кровяными белками и огромным напряжением воли удерживал сознание.

— Опять нами золотопогонники владеют! Забрали власть к рукам!—орал Ермаков, обнимая Григория.

— Какие погоны?—спрашивал Григорий, отстраняя руки Ермакова.

— В Вешках, што же ты не знаешь, што ли? Кавказский князь сидит! Полковник! Зарублю! Мелехов! Жизнь свою положу к твоим ножкам, не дай нас в трату! Казаки волнуются. Веди нас в Вешки, все побьем и пустим с дым! Илюшку Кудинова, полковника, всех уничтожим! Хватит им нас мордовать. Давай биться и с красными и с мадеями. Вот чево хочу!

— Полковника убьем. Он нарочно остался... Харлампий! Давай советской

власти в ноги поклонимся... Виноватые мы...—Григорий, на минуту трезвея, вкривь улыбнулся.—Я шучу, Харлампий, пей.

— Чево шутишь, Мелехов? Ты не шути, тут дело сурьезное,—строго заговорил Медведев.—Мы хотим перетряхнуть власть. Всех сменим и посадим тебя. Я гутарил с казаками, они согласны. Скажем Кудинову и его опрочине добром: «Уйдите от власти. Вы нам не гожи». Уйдут—хорошо, а нет—двинем полк на Вешки, и ажник чорт их хмылом возьмет!

— Нету больше об этом разговор!—свирепя, крикнул Григорий.

Медведев пожал плечами, отошел от стола и пить перестал. А в углу, свесив с лавку вздохмаченную голову, чертя рукой по загрязненному полу, Рябчиков жалобно выводил:

Ты мальчишечка, разбедняечка,  
Ой, ты склони свою головушку.  
Ты склони свою головушку,  
И, эх! на правую сторонушку.  
На правую, да на левую,  
Да на грудь мою, грудь белую.

И сливая с его тенорком, по-бабьи трогательно жалующимся, свой глуховатый бас, Алешка Шамиль подмигивал:

На грудях когда лежал  
Тяжелехонько вздыхал...  
Тяжелехонько вздыхал, и в остатный раз сказал:  
«Ты прости, прощай, любовь прежняя,  
Любовь прежняя, чорт паршивая».

За окном залиловел рассвет, когда хозяйка повела Григория в горницу.

— Будя вам ево поить! Отвяжись, чертяка! Не видишь, он не гожий никуда?—говорила она, с трудом подерживая Григория, другой рукой отталкивая Ермакова, шедшего за ними с кружкой самогона.

— Зоревать, што ли?—подмигивал Ермаков, качаясь, расплескивая из кружки.

— Ну да, спать.

— Ты с ним зараз не ложись, толку не будет...

— Не твое дело! Ты мне не свекор!

— Ложку возьми!—падая от приступа пьяного смеха, ржал Ермаков.

— И-и-и, чорт бессовестный! Залил зенки-то и несешь неподобное.—Она

втокнула Григория в комнату, уложила на кровати, в полусумерках с отвращением и жалостью осмотрела его мертвенно-бледное лицо с невидящими открытыми глазами.

— Может, звару выпьешь?

— Зачерпни.

Она принесла стакан холодного вишневого взвару и, присев на кровать, до тех пор перебирала и гладила спутанные волосы Григория, пока не уснул. Себе постелила на печке рядом с

девочкой, но уснуть ей не дал Шамиль: уронив голову на локоть, он всхрапывал, как перепуганная лошадь, потом вдруг просыпался, словно от толчка, хрипло голосил:

Да со служби-цы до-мой!

На грудях—по-го-ни-ки,

На плечах—кресты-ы-ы...

Ронял голову на руки, а через несколько минут, дико озираясь, опять начинал:

Да со службцы д'мой!

*(Продолжение следует)*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИХ. ШОЛОХОВ—Тихий Дон <i>Роман</i> (продолжение) . . . . .	3
А. СУРКОВ—Застава Ильича. <i>Стих</i> . . . . .	42
ВИЛЛИ БРЕДЕЛЬ—Улица Розенгоф ( <i>отрывки из романа</i> ) . . . . .	44
ВЛ. ЛУГОВСКОЙ—Вахшстрой. <i>Стих</i> . . . . .	62
ВАС. КУДАШЕВ—Камень на дороге. <i>Роман</i> . . . . .	65
ЕВГ. ПАВЛИЧЕНКО—Северный поход. <i>Стих</i> . . . . .	87
<b>ЖИЗНЬ НА ХОДУ</b>	
Г. КИШ—Карьера Адольфа Гитлера (продолжение) . . . . .	88
М. ЗАПРУДНЫЙ—Лесорубы . . . . .	97
ИВ. СЕМЕНОВ—Мистер Томас ( <i>глава из книги „Записки автогенцижжа“</i> ) . . . . .	113
В. ХАНДРОС—В стране Мирабилита . . . . .	117
В. ШУЛИКОВ—Мечтатели и мастера (окончание) . . . . .	130
<b>ПЕРЕЖИТОЕ</b>	
Ф. ФЕДОТОВ—Фирма „Да-Шен-Ку“ . . . . .	148
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
МИХ. ПОПОВ—Одна из великих побед техники . . . . .	156
<b>КРИТИКА</b>	
С. НЕЛЬС—„Последний из Удэгэ“—А. Фадеева . . . . .	165
<b>БИБЛИОГРАФИЯ</b>	
А. МИХАЙЛОВ—М. Добрынин—Против механистов и эклектиков. . . . .	182
В. БАКИНСКИЙ—В. Каверин—„Художник неизвестен“ . . . . .	186
Эмиль Мадарас—„Борьба Павла Чигаиды“ С. М—с. . . . .	189



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1932 год

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

# О К Т Я Б Р Ъ

Орган Российской и Московской ассоциации пролетарских писателей (РАПП и МАПП)

ГОД ИЗДАНИЯ 7-й

12 №№ в ГОД

**ОКТАБРЬ** группирует вокруг себя пролетарских писателей, растущий литературный молодец и близких революции писателей советской интеллигенции.

**ОКТАБРЬ** печатает лучшие произведения пролетарской литературы, освещает важнейшие явления политической и культурной жизни страны, ведет борьбу за гегемонию пролетарской литературы.

В 1932 ГОДУ В ЖУРНАЛЕ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

## РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. СЕРАФИМОВИЧ—„Борьба“, роман</li><li>2. Ф. ПАНФЕРОВ—„Бруски“, кн. 3-я</li><li>3. А. ИСБАХ—„Кадры“, роман</li><li>4. М. ШОЛОХОВ—„Тихий дождь“, кн. 3-я</li><li>5. В. СТАВСКИЙ—„Станица“, кн. 3-я</li><li>6. А. ФАДЕЕВ—„Последний из удэгов“, кн. 2-я</li><li>7. БАБЕЛЬ—Рассказы</li><li>8. Б. ЯСЕНСКИЙ—„Таджикистан“, очерки</li><li>9. М. ПЛАТОШКИН—„Развернутым фронтом“, роман</li><li>10. БИЛЛЬ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ—Пьеса и записки писателя</li><li>11. В. ГОРБАТОВ—„Горный исход“, пов. и роман „Жажда“</li><li>12. Л. ЛЕОНОВ—Повесть</li><li>13. В. ДУБРОВИН—„Конец самодуровки“, кн. 2-я</li><li>14. А. МИТРОФАНОВ—„Северянка“, роман</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>15. Я. ШВЕДОВ—„Поиски отечества“, повесть</li><li>16. В. ГАЛИН—„Литье“, роман</li><li>17. Я. ИЛЬИН—„Большой конвейер“, роман</li><li>18. А. ЧЕРНЕНКО—„Моряки“, роман</li><li>19. И. ЖИГА—„Доббасс“, очерки</li><li>20. А. КАРАВАЕВА—„Героним“, рассказ</li><li>21. В. Ильенков—Рассказ</li><li>22. З. РИХТЕР—„Поход осевэка“, очерки</li><li>23. Л. ОВАЛОВ—Роман</li><li>24. В. БАХМЕТЬЕВ—Рассказ</li><li>25. Г. КИШ—Очерки</li><li>26. М. ЭГАРТ—„Опаленная земля“, роман</li><li>27. ЕФ. ПОЛОНСКИЙ—„Баку“, кн. 2-я</li><li>28. С. МСТИСЛАВСКИЙ—„Партионцы“, роман</li><li>29. История Коломенского завода, очерки</li></ol> |
|---|--|

## СТИХИ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ, МЕМУАРЫ, СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ

В отделах: 1) ЖИЗНЬ НА ХОДУ, 2) ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ, 3) ПЕРЕЖИТОЕ, 4) ПУБЛИЦИСТИКА, 5) СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО, 6) КРИТИКА, 7) БИБЛИОГРАФИЯ.

Журнал рассчитан на партийный и комсомольский актив, рабочих ударников, учащихся, широкие писательские слои и литкружковцев.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—12 р., на 6 мес.—6 р., на 3 мес.—3 р.  
Отдельный номер—1 р. 10 к.

**ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ**

всеми отделениями и магазинами Книгоцентра, его уполномоченными и всюду на почте